

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ТРУДЫ
ПО
РОССИЕВЕДЕНИЮ**

Сборник научных трудов

Выпуск 2

**Москва
2010**

Коллектив авторов

**Труды по
россиеведению. Выпуск 2**

«Агентство научных изданий»

2010

ББК 63.3(2)

Коллектив авторов

Труды по россиеведению. Выпуск 2 / Коллектив авторов —
«Агентство научных изданий», 2010

ISBN 978-5-248-00584-0

Тема выпуска – современная Россия, ее социальное, политическое, экономическое развитие. Наряду с работами российских исследователей в научный оборот вводятся произведения зарубежных ученых. В издание также включены фрагменты малоизвестных текстов отечественных мыслителей конца XIX – первой половины XX в. и материалы семинаров, проведенных Центром россиеведения ИНИОН РАН. Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.

ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-248-00584-0

© Коллектив авторов, 2010

© Агентство научных изданий, 2010

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| От редактора | 5 |
| Конец десятилетия | 9 |
| Россия в зеркале русской поэзии | 17 |
| Современная Россия | 22 |
| Русская история: 2010 | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 39 |

Труды по руссиеведению. Сборник научных трудов Выпуск 2

От редактора

Большинство материалов второго выпуска «Трудов по руссиеведению» посвящены постсоветской России, точнее – России 2000-х. Нам хотелось рассмотреть это время сразу с нескольких «площадок», синтезировав – в той мере, в какой нам это доступно, – разные исследовательские подходы. Конечно, любые подходы ограничены, однако, дополняя друг друга, они способны создавать эффект резонанса, взаимоусиления, стереоскопического видения объекта.

Кроме того, мы попытались расширить и усложнить объект исследования, поместив настоящий момент в исторический контекст, придав ему темпоральное измерение. Эти интерес к истории, потребность видеть современность в «долгом» ракурсе вовсе не означают поиска «тавтологий» российского бытия, желания объяснить настоящее тем, что уже было, и уж тем более тем, что так было всегда. Конечно, все сложнее. Мы исходим из того, что постсоветская Россия – принципиально новый социоисторический феномен; его непродуктивно описывать в старых категориях. Однако было бы глупо отрицать связь нашего времени с иными русскими эпохами, наличие в нем глубинных определенностей, вырастающих из прошлого. Замкнуться в настоящем, нацелив на него весь арсенал западных теорий, – значит ничего в этом настоящем не понять (мы, конечно, не ставим под сомнение качество этих теорий; речь идет об их объяснительных возможностях для русского материала).

Современность не «вычитывается» из прошлого, но в нем возможен поиск смыслов, способствующих ее пониманию. Это особенно важно для России: здесь новые эпохи строятся на разрывах, на принципиальном отрицании преемственности; и в то же время при становлении и самоутверждении нового происходит компенсаторная активизация традиционных механизмов, связей, опыта. Их действие (и действия над ними, совершаемые в своих интересах «элитами») обесмысливают перемены, демпфируют их, придают им новые ориентиры, «переопределяя» развитие. Историческая призма необходима для познания России. Любые познавательные конструкции не могут абстрагироваться от опыта; их язык следует «заимствовать» не только «извне», но и из «словаря» русской истории и ее исследователей, из устойчивых речевых стереотипов, исторического образно-метафорического ряда. Конечно, мы не предлагаем абсолютизировать этот подход и вовсе не склонны впадать в «самобытничество», производя новые мифы по поводу самих себя. Речь идет о возможном методе исследования, способе саморефлексии, одном из аналитических подходов – не более того.

И наконец, нам хотелось выделить актуальные, «растиражированные» темы, создающие образ («для себя» и «для других») новой России. Одна из таких тем – модернизация, буквально ставшая «слоганом» 2010 г. Мы пытались понять, что скрывается за этим «социальным ярлыком», почему он оказался столь востребованным именно сейчас, на явном модернизационном «спаде», в фазе «демодернизации». Наш интерес не имеет ажиотажно-сиюминутного, идеологизированного характера. Для российской культуры это чрезвычайно важная тема, звучащая и как исторический анекдот – модернизация в России всегда не ко времени и не по силам, но бывают моменты, когда даже разговоры о ней выглядят как издевательство или слабоумие, – и как историческая трагедия: за модернизацию всегда платили непомерную цену, она никогда не приводила к ожидаемым результатам, натываясь на новые и заводя в старые исторические тупики. Мы – особенно в XX в. – выглядим как страна безнадежная, не поддающаяся

такой модернизации, которая работала бы на социальное благополучие и мир. Поэтому для нас актуален вопрос: от какой модернизации нам не следует отказываться? А при ответе на него важен ракурс соотнесения России с миром, его ценностями, вызовами, ответами на изменения.

А вот другой вопрос, постоянно нас «догоняющий» и застающий врасплох: зачем нам прошлое и чем обусловлен выбор «подходящих» (каждой новой) современности образов прошлого? Актуальный в течение всего XX в., он стал просто вопросом вопросов дня сегодняшнего. Наше настоящее, отличающееся наследственно-небрежным отношением к историческому наследию (точнее, пренебрежением им), при этом обложено прошлым, как ватой, предохраняющей от ударов и повреждений. Почти все живут с оставшейся от прошлого «матчасти» (месторождений, заводов–газет–пароходов, родства и связей или учреждений, недвижимости, земли, или квартир, дачных участков и т.п.), а также пользуются прошлым как символической защитой.

Прошлое–символ нужно для того, чтобы убежать от настоящего: постоянно напоминать себе, что мы способны не только «балдеть» и «хаметь» от «хорошей» жизни, выкручиваться и «сатанеть» от жизни «для всех», но и строить, конструировать, запускать, сочинять и освободить, завоевывать, побеждать и быть в мировом «авторитете». Но это не все. С помощью прошлого мы защищаемся и от него самого, от времени вообще, подпирая «прочными» историческими конструкциями свои вечные «тупики», «колеи», «застойные» паузы, свои нежелание и неспособность цивилизованно и ответственно отвечать на вызовы новых эпох, «глушим» свой страх перемен. За счет прошлого, путем его препарирования мы пытаемся – во всяком случае таков опыт XX – начала XXI в. – удержаться в одном времени, в какой-то придуманной нами вневременной «дыре». Для этого наследие разоряем, историю дробим, мажем в черно-белые тона; хорошо залакированным, «беспорным», достойно-героическим прошлым прикрываем то, которое требует к ответу, напоминает об утраченных возможностях, пугает разнообразием, сложностью и возможностью разночтений.

В отношении к прошедшему мы по преимуществу мародеры. И оно отвечает нам адекватно: не «дается», ускользает от понимания; служит эффективно, но краткосрочно; отсекает от перспектив, ориентируя на повторение, возвращение, топтание на месте. Постоянно самоопределяясь через прошлое, сделав его основой своей идентичности, мы совершаем один и тот же порочный выбор: «грузим», нагнетаем, навязываем себе то, от чего по здравому размышлению следовало бы отказаться; отрицаем, отвергаем, громим, «реконструируем» «по-новомосковски» то, что несет в себе хоть какие-то шансы, подталкивает к размышлениям, сомнениям, самокритике. Отсюда – усеченность, бедность, ненаполняемость нашей памяти, ее смыслоотвергающий потенциал, тяга ко лжи (у нас всегда актуален массовый запрос: «обмани нас правдиво!») и компенсаторная потребность в «лжеобличении» и «правдовосстановлении» (не случайно в 2000-е стали модными «слоганы»: с одной стороны, «история непознаваема, это всегда миф», с другой – «историческая правда необходима, она – в документе, в архиве, в памяти очевидца/участника...», «боритесь с фальсификаторами истории!»). Разговор о конструировании прошлого, его востребованных, «тиражных» образах – это всегда разговор не об истории (или не столько о ней), а о состоянии современного общества. Именно в таком смысле важны материалы о постсоветской памяти, о специфике «воспоминаний» 2000-х, которые вошли в этот выпуск.

Столь же актуальны на первый взгляд вполне ретроспективно-«архивные» и в этом смысле нейтральные материалы рубрики «Наследие – наследникам». За этими текстами, безусловно, представляющими и самостоятельную ценность, – вечный спор разных русских эпох, полемика между изгнанным, ушедшим, утраченным и победившим, действующим, определяющим нас теперешних. (В таком контексте вовсе не случайным кажется жанр одной из публикаций – дискуссия с источником/автором/мнением из прошлого.) Выяснение отношений между тем, что было, и тем, что есть, имеет смыслообразующее значение: только поняв, что в

нашей истории было жизнеспособно или обречено, что следовало уничтожить или сохранить, можно освободиться от груза прошлого, совершенно сознательно принять его, выстроить предметные линии и обозначить свое сегодняшнее место во времени. Неразрешенный спор эпох выливается в современные «бои вокруг истории»; гражданское противостояние по поводу прошлого демонстрирует, что гражданская война, развязанная в начале XX в., не завершилась и спустя столетие. В такой ситуации невозможны самоопределение, ответ на вопрос «кто мы?» – нас как сообщества нет; отсутствует база для солидаризации – как в отношении прошлого, так и по поводу будущего.

Некоторые материалы «Трудов...» представляют для нас интерес по не вполне очевидным причинам. Это касается прежде всего рубрики «Семинары Центра руссиеведения». Будучи посвящены важным темам и дополняя материалы разделов «Современная Россия» и «История и историческая память», семинары являются своего рода собранием актуальных мнений, позиций, взглядов на политическую ситуацию в стране. Поэтому дают некий срез не только состояния определенных проблем, но и состояния научного сообщества.

Как нам кажется, семинары (да и не только они) демонстрируют важную тенденцию в современных (в данном случае политологических) исследованиях. В постсоветское время мы многое узнали и поняли о себе, о режиме и культуре; в общем-то, сложилась смысловая конструкция 2000-х. Достаточно очевидно, что наличная действительность с политической точки зрения малоинтересна и малоперспективна. Поэтому исследователи, не перешедшие полностью и окончательно на официальные позиции, сосредоточиваются либо на эмпирическом анализе, либо на «производстве» объяснительных моделей («маленьких» теорий, схем и т.п.). Многие из них не столько интерпретируют наше настоящее (оно, повторю, достаточно очевидно – что-то между скучновато и страшновато), сколько конструируют – рядом и взамен – новую реальность. В ней присутствуют игра, динамика, наконец, политика – здесь есть, с чем работать. Исследователи порождают пространство исследования. Этот тип адаптации (не скажу капитуляции) к действительности знаком по советским временам (конечно, цели и средства тогда были другими). И он свидетельствует о наличии важных дефицитов нашего настоящего.

К «части» мнений и взглядов тяготеет небольшой, но важный раздел «Трудов...» – «Рецензии». Дефицит такого рода материалов, кризис самого жанра рецензирования, принадлежащего пространству научной полемики, особенно ощутимы в последнее время. Кажется, что пишущие друг другу малоинтересны, – откликов на чужие писания почти нет, что обесмысливает процесс исследования. Поэтому заявленный раздел для нас чрезвычайно важен. Он открывается отзывом на книгу о современной России, вышедшую несколько лет назад, в 2007 г., но вовсе не потерявшую актуальность.

Мы продолжаем темы и рубрики, заявленные в первом выпуске «Трудов...». Очевидно, что в издании по руссиеведению должны появляться материалы, уточняющие предметные рамки этого исследовательского направления. Подчеркнем: при всем интересе к руссиеведению его предмет крайне неопределен, «нестабилен». Круг значимых имен, идей, методологий не выявлен; идет поиск своей научной ниши. Если цель руссиеведения – самопознание (и выработка для этого адекватного инструментария), то главная проблема – самоопределение, институционализация. Мы видим свою задачу в инициировании дискуссии на тему «что есть руссиеведение в России?», в «архивировании» текстов, отражающих наиболее типичные или, напротив, неожиданные суждения, идеи. В этом смысле нам кажутся интересными материалы рубрики «К вопросу о руссиеведении», отражающие ситуацию с русскими исследованиями за рубежом и проецирующие этот опыт на Россию. Интересны они прежде всего своей спорностью, дискуссионностью, тем, что провоцируют на размышления.

Интеллектуальная «провокационность» присутствует и в тексте нашего венгерского коллеги «Эссе о русском». Знакомство с ним (и, конечно, не только с ним) наводит русского по крайней мере на две мысли, вроде бы противоречащие самому тексту. Первая: для того чтобы

быть русофилом, западному человеку лучше изучать Россию на дистанции, смотреть на нее «со стороны». Долгая близость не способствует упрочению симпатии. Вторая: чем лучше европеец понимает русский мир, чем глубже в него проникает, тем больше «чуждостей» он в нем обнаруживает. Наша неевропейскость – не в бытовом укладе жизни (это лишь следствие), а в культурно-ментальном «складе» человека, в культуре. Не только мы, русские, в большинстве своем самоопределяемся как (в лучшем случае) не- или (в худшем) анти-Запад. Европейский человек при столкновении с Россией дилемму – что это: другая Европа или нечто совсем иное, – разрешает, скорее, в пользу несходства. А здесь уже возможны варианты: от признания нас «экзотикой» (Африка или Индия, но белая и на севере), которую следует принимать, как она есть, – до русофобства. Его база, как представляется, – не в политическом заказе, а в интуитивном понимании чуждости.

Основная идея, «сверхзадача» этого выпуска – описание состояния современного российского общества через разные сферы его жизнедеятельности, поиск смысловых рамок нашей эпохи, ее определяющих значений. Решению этой «сверхзадачи», по нашему мнению, способствуют материалы завершающего раздела «Трудов...». Его обширность в этом издании представляется вполне оправданной. Более того, здесь срабатывает закон перехода количества в качество: сцепляясь в некое единство, эти тексты указывают на наличие в нашей жизни отчетливых признаков того социально-властного устройства, которое стало принято называть «русской системой». Это вовсе не только (а, может быть, даже не столько) русская власть, но и среда ее обитания, т.е. социум, люди, мы.

И.И. Глебова

Конец десятилетия (Вместо предисловия)

Решение посвятить этот выпуск «Трудов по руссиеведению» проблемам современной России (условно говоря, России 2010 г.) связано с целым рядом обстоятельств.

Юбилейный 2010-й

2010 год оказался «неожиданно» юбилейным. Причем в зеркале этих юбилеев мы можем увидеть некоторые важные черты России первого десятилетия XXI в. Итак, это и 100 лет со дня ухода и смерти Льва Толстого, и 90 лет со дня фактического окончания Гражданской войны и победы в ней «красных», или большевиков (о чем, кажется, никто не вспомнил), и 65 лет окончания Отечественной и Второй мировой войн, и 30 лет проведения московской Олимпиады (почему это событие так значительно, мы еще скажем), и 25 лет со дня начала перестройки, и 10 лет правления В.В. Путина (два последних, «медведевских» года в целом суть продолжение предшествующего режима).

Итак, по порядку. *1910 год.* В России заканчивается «золотой» XIX в. Уход Толстого символизировал собою завершение периода расцвета и подъема (еще два-четыре года для истории не существенны, не заметны). «Бунт» Толстого по своим глубине и опасности был не менее значим, чем революция 1905–1907 гг. Может быть, самое яркое, что произвела Россия в свой «золотой» век, порывает с ней – ее церковью, ее государством, ее семьей, ее социальным устройством – всякие связи. Так Толстой, который был (здесь Ленин прав) «зеркалом русской революции», сам стал русской революцией. Кстати, такое в нашей истории уже случалось. Вспомним Пушкина, как-то в разговоре заметившего: Петр Великий есть настоящая революция. То же самое можно сказать и о Толстом. Сегодня мы не представляем себе масштабов того морального влияния на российское общество, которое имел этот яснополянский рюрикович. И потому его «нет» было грандиозным отрицанием всей той России. (Некоторые современники – например, Т. Манн и А. Блок – полагали, что если бы Толстой был жив в 14-м году, то не началась бы мировая война («всем стало бы стыдно»), а в 17-м году – революция. Конечно, они ошибались, особенно Блок: ведь, повторим, Лев Толстой и был революцией.)

В какой-то момент показалось, что если с уходом Толстого Россия вступила в свой страшный XX в., то с возвращением Солженицына, которое произошло три четверти столетия спустя, она вернулась на какие-то исконные, органические пути (чего так страстно хотел Александр Исаевич). Но этого не произошло. Как всегда, Россия идет, безусловно, своим, но – и опять же, как всегда, – новым, неизведанным путем. (Собственно, *этому* и посвящен очередной выпуск «Трудов по руссиеведению».)

1920 год. Очевидная и безусловная победа большевиков в Гражданской войне. Всякому нормальному человеку становится ясно, что с вооруженным сопротивлением новому режиму покончено. Россия разрушена до основания, до глыбы – Россия «во мгле». Победители получают возможность строить свой новый мир. Именно тогда начинает складываться советская система, наследниками и продолжателями которой являемся мы. Но тогда же рождается и другая Россия («Россия в изгнании», З. Гиппиус), которая в интеллектуальной и эстетической форме блистательно реализует те интенции и тот потенциал, что были накоплены нашей страной в ее золотой век. К сожалению, они не воплотились в социально-институциональной сфере.

1945 год. Единственное, пожалуй, безусловное событие в советской истории. При всем том непредставимом ужасе 1941–1945 гг., при всех тех ни с чем несоизмеримых преступлениях сталинского режима (прежде всего по отношению к собственному народу), при всех

тех неисчислимых жертвах, которые положили на алтарь Победы народы Советского Союза, война и Победа стали главным внутренним подвигом русских людей XX столетия. Внутренним потому, что режим сделал все от него зависящее, чтобы народ отказался воевать.

Война и Победа явились фундаментом еще одной попытки России построить гражданское общество. Оттепель, шестидесятничество, правозащитное и вообще диссидентское движение, мощный подъем русской культуры в послевоенные десятилетия имеют своим источником войну. Скажем больше. В ходе и в результате войны Россия вновь начала обретать себя. Она сумела доказать (в первую очередь, себе), что полного краха не произошло. Последовавшие подъем экономического благосостояния «широких народных масс» (середина 50-х – конец 70-х), научно-технические достижения, атомный проект, космос и т.д., несомненные успехи в сфере социально-гуманитарных наук, да и вообще модернизационный рывок также суть следствия войны и Победы. Именно в те годы первый поэт России XX в. Борис Пастернак зафиксировал: «Я как от обморока ожил».

65 лет со дня окончания Второй мировой войны, как это ни парадоксально, для России ничего не означают. Никаких эмоций относительно этой войны и этой победы у нашего народа нет. Может быть, единственное, что вызывает оживление или интерес, – это споры на тему, «каков был вклад союзников в нашу победу, была ли их помощь СССР значительной, решающей, несущественной и т.п.». Но все это второстепенно по сравнению с отношением россиян к Отечественной войне. Интернационализация войны и Победы для нашего человека – «элитарного» и массового в равной мере – невозможна, так как меняет (точнее, отменяет) ее смысл.

Этот пример демонстрирует важнейшую культурно-ментальную характеристику. Мы, русские, по-прежнему понимаем себя как весь мир, а не его часть, не желаем мириться со своей частностью. Поэтому и мировую историю, и мировую войну редуцируем к отечественным. Именно здесь источник нередкого у нас воинствующего национализма, отрицающего (презирающего) Другого и на этой основе возвышающего себя. Внутренняя «недостаточность», культурная «элементарность», неуверенность в себе, которые компенсируются комплексом «избранничества», – все эти болезненные свойства национального организма, на которые впервые так отчетливо и резко указал Чаадаев, в нас не просто остались, но в советские времена были развиты и укрепились в качестве «основы». На ней – видимо, за неимением других оснований – и стоит сегодняшняя Россия.

1980 год. Год обещанного коммунизма. Советская власть (власти) как всегда сдержала слово. Как пелось в популярной советской песенке: «И что было задумано, то исполнится в срок»... Исполнилось. Коммунизм пришел в СССР в виде и в рамках Московской олимпиады (у него даже был свой символ – «ласковый Миша» из «сказочного леса»). Советский человек, хоть и несколько дней, но пожил при коммунизме, о необходимости и неизбежности которого говорили двадцать лет. Кто-то поучаствовал в этом лично, другие (большинство) знали понаслышке, но время от времени всех еще подпитывает ощущение радости, счастья случившегося.

В 2010 г. об Олимпиаде вспомнили, по ТВ прошли соответствующие сюжеты и фильмы, создали даже Оргкомитет по празднованию 30-летия. Интересно, что говорили не о спортивных победах или неудачах, не о спортмероприятии, а об атмосфере тех дней – непривычно (для Москвы и СССР) доброжелательной, спокойной, радостной. В воспоминаниях ощущались невероятная, даже какая-то шемящая ностальгия, странное – человеческое, нежное – отношение к официальному, вроде бы, событию. Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно не случайно, но чем вызвано?

«Разгадка», мне кажется, и заключается в том, что для советских людей спортивное событие приобрело важное социальное значение – реализовалась мечта. Тогда по Москве ходили шутки: мы и впрямь дожили до коммунизма. Москвичи вспоминают: летом 80-го, к мероприятию, в магазинах неожиданно появилось неслыханное по тем временам многообразие про-

дуктов (т.е. некоторый выбор), город стал чистым, каким-то более уютным и нормальным. Он напоминал картинки Москвы из советских фильмов. Куда-то исчезли хаотические толпы, которыми и в то время была запружена центральная часть столицы (они составлялись не только из москвичей, но и из наезжавших в Москву в поисках продовольствия жителей «ближнего» и «дальнего...», командировочных и т.п., что было связано со сверхцентрализацией во всех отношениях советского общества). Из города убрали бóльшую часть тех, кто потенциально (и актуально) мог нарушить общественный порядок. А в Москву приехали многочисленные зарубежные туристы, внесшие в нее непривычное разнообразие. И все это вкупе с празднично одетыми «хорошими» москвичами создавало иллюзию какой-то новой, необыкновенной, более богатой и красивой жизни. В общем, коммунизма.

Слово для обозначения происходившего нашлось совсем не случайно. В представлении и тогдашних советских вождей (начиная с Хрущева), и бóльшей части народа «коммунизм» ассоциировался с сытой, «красивой», спокойной (в том числе безопасной) и праздничной (нерабочей, но и не безработной) жизнью. Образ коммунизма был в чем-то схож с наличной реальностью – скажем, с поездкой деревенского жителя в город и удивленно-радостным переживанием тех возможностей, недоступных в деревне, которые город в себе таил. Это зафиксировано, например, в прозе и кино В. Шукшина. Коммунизм воображался как «высшая стадия» нашей бытовой жизни, что-то сродни походу в магазин «Березка» или отдыху в Карловых Варах, на Балатоне, болгарском побережье Черного моря.

Вообще уровень мечтаний простого советского человека (а тогда он еще мечтал) был невысок. Коммунизм – советская мечта о нормальной жизни, нормальном городе (на манер обычного средневропейского), нормальных отношениях между людьми, между властвующими и подвластными и т.п. И вот мечта неожиданно «сделалась былью» в июле 80-го.

Конечно, «быль», как и все были, не могла быть точной копией мечтаний. «Реальный» коммунизм имел ограниченный – во всех смыслах этого слова – характер. Как вспоминают те же современники, необыкновенно сильным было ощущение искусственности, кратковременности и, как сказали бы сегодня, эксклюзивности происходящего. На деле вышел «урезанный», нестойкий, бедненький коммунизм. Но ведь и это понятно. Особенно его «урезанность», бедность: крайне ограничены были социальные ресурсы. Что касается искусственности, то представления о коммунизме всегда носили очень надуманный характер. Можно было тысячу раз получать пятерки на экзаменах по предмету «научный коммунизм», излагая историческую логику неизбежности «высшей стадии социализма», но как «стадия» должна устроиться в реальности, никто, разумеется, – от членов Политбюро до любого советского человека – наверняка не знал. Вот с «реальным социализмом» все было понятно: в нем жили. А коммунизм и в 1980-м оставался сладкой сказкой.

Говоря о ее воплощении, нельзя, конечно, забывать других знаковых событий 80-го года: вступления наших войск в Афганистан (это, кстати, как и «олимпиадный коммунизм», – нечто усеченно-непонятное, противоречивое и «недоделанное»; введение «ограниченного контингента» – не полновесное вторжение, не объявление войны, но точно и не «товарищеская помощь дружественному афганскому народу»), ареста Сахарова, разгрома диссидентского движения и полного зажима интеллигенции, ухудшения продовольственного снабжения по всей стране (особенно болезненного для нашего населения, неоднократно переживавшего в XX в. голод). И наконец, был еще бойкот Олимпиады ведущими странами Запада, что создавало ощущение если не провальности, то ущербности мероприятия. А ведь Олимпиада для тоталитарных режимов (Германия в 1936 г., СССР в 1980 г., Китай в 2008 г.) – событие прежде всего политического, а не спортивного характера; точнее, это эксплуатация спорта в интересах политической мобилизации.

Все вместе создавало вокруг Олимпиады атмосферу неуверенности, еще бóльшей, чем прежде, изолированности, отъединенности от мира, опасного одиночества. К тому же со всех

концов Союза в Москву нагнали милиционеров. Действуя вежливо, они тем не менее придавали столице имидж «режимного объекта». Это кредо советского: функция обеспечения порядка неизбежно влекла за собой установление полувоенного (в лучшем случае) положения.

Видимо, только так и мог быть построен коммунизм в СССР: на несколько дней, в одном городе, на фоне спортивных достижений, в формате одновременно декорации/зрелища и охраняемого «специального мероприятия». Парад, конкуренция – но только в спорте, охрана (с послаблениями в режиме), увеличение «пайка», порядок/безопасность, организованное народное ликование, ограниченное «конвоирование» (т.е. усеченная свобода передвижения и общения), некоторая степень открытости миру при угасании внутренних страхов и ощущения внешней угрозы – вот, видимо, советская формула «хорошей жизни» (социализма, «развившегося» до высшей стадии). В ее возможность так долго верили, что подобие с готовностью приняли за реальность. Но всякое счастье, как известно, ненадолго. Окончился наш краткосрочный и ограниченный коммунизм практически тогда же, когда и начался. Мы даже точно знаем дату: 28 июля 1980 г., в день похорон В. Высоцкого.

Впервые после 12 апреля 1961 г., дня полета Гагарина, огромные массы москвичей спонтанно – не по принуждению властей, а что называется «по зову сердца» – вышли на улицы. Там не было ничего искусственного, нереального – людей вело настоящее горе, ощущение потери. И потому из толп они мгновенно преобразились в народ. У И. Бродского есть слова: «Только размер потери и делает смертного равным Богу». С ортодоксально-христианской точки зрения это утверждение сомнительно. Но мы его используем, скорее, как метафору. Высоцкий в 70-е стал важнейшей составляющей внутреннего мира огромной части советского населения – от шахтеров до министров, от диссидентов до гэбешников. Именно его голос в то десятилетие был «эхом русского народа». Смерть первого в то время поэта России, народные похороны и народная скорбь «закружили» московский коммунизм.

Только сегодня становится ясно, что выход масс на улицы и площади Москвы летом 80-го был исторической репетицией тех событий, которые произойдут – прежде всего в нашей столице – во второй половине 80-х: массовых демонстраций, митингов и шествий эпохи перестройки. Из дня сегодняшнего понимаешь, что народная акция «на смерть поэта» была свидетельством готовности советских людей к переменам (вскоре, кстати, об этом скажут другие поэты, ставшие голосом новой эпохи). Реальная история смела олимпийские декорации 80-го, весь тот советский коммунизм, который смог осуществиться лишь как «потемкинская деревня». Однако говорить снисходительно о нем не стоит. Ведь даже для установления коммунизма на несколько дней в одном отдельно взятом месте и в декоративной форме потребовалось сверхнапряжение всей страны, всех ее ресурсов (что засвидетельствовано участниками «строительства»). Кроме того, как показала дальнейшая история, то был единственный момент, когда мечта о коммунизме – хотя бы в таком виде – могла реализоваться. 1980 г. – «высшая стадия» развития советской жизни, советского мира. Не случайно с ним связано и воплощение советского мифа.

В начале 80-х советская история стала напоминать «хронику пикирующего бомбардировщика». Все пошло «вниз»: один за другим умирают властители, необратимо портится экономика, в «вязкой» и стойкой апатии цепенеют люди. А коммунизм улетел вместе с символом Олимпиады, Мишкой, в день ее закрытия. «До свидания, наш ласковый Миша!» – до сих пор звучит трогательно-ностальгически. А другой – вполне реальной, но тоже «ласковый» – Миша уже был в Москве.

1985 год. Начало перестройки. Конечно, тогда никто еще не знал, что в действительности надвигается. А сейчас мало кто помнит и понимает, что произошло. Хотим мы или нет, то была четвертая русская революция, антикоммунистическая и антисоветская по своей природе. На ней закончилась история коммунизма в России. Коммунистический эксперимент провалился – это факт, из которого следует исходить. Через четверть века мы живем в другой стране, с

другим социальным строем, с другой территорией, с другим населением. Теперь, зная, чем закончился советский коммунизм и что сформировалось после его падения, граждане этой страны совершенно иначе видят (должны видеть) и свою историю в целом, и историю XX в., и – что, может быть, важнее всего – самих себя.

Четвертьвековая годовщина начала перестройки – прекрасный повод поразмышлять над тем, каков исторический субъект российской жизни, его качества, возможности, перспективы. Иными словами, именно по прошествии постперестроечной «переходной» эпохи мы можем спокойно, трезво, без всяких надежд, отчаяний, фантазмов рассказать (как и подобает исследователю), что делал русский человек в XIX – начале XX в. и чем это закончилось; чем занимался тот же человек на протяжении большей части XX столетия; что он совершил в его конце и начале следующего.

При этом мы находимся в абсолютно уникальной ситуации. Среди нас еще есть люди, воспитанные предреволюционным поколением; мы сами – стопроцентный продукт советского времени и непосредственные участники постсоветской эволюции. Не через книги и не понаслышке нам удалось пережить все три последние русские исторические эпохи. Причем, повторим, мы знаем, чем они начались и как закончились. Таких исходных условий в силу неумолимости биологических законов не будет у поколений, идущих за нами. Следовательно, главная наша задача – выработка адекватного знания о России. Или, выражаясь пафосным языком одного из самых известных персонажей нашего времени, у нас есть «единственный проект – наша страна» (А. Чубайс).

2000 год. К власти приходит новый человек, и при нем Россия постепенно обретает свой нынешний вид. То есть реализует одну из нескольких возможностей, которые сформировались в течение 90-х. Если говорить очень общо, их было три: окончательные распад и гибель (я лично в это мало верю, но так полагает ряд авторитетных исследователей); усиление демократического порядка, дальнейшая либерализация (и создание более европейского, т.е. более открытого) общества, постепенное становление той системы, которая заявлена в Конституции РФ; новое издание русской полицейщины, резкое сокращение прав и свобод, попытка во внешней политике вернуться на позиции влиятельного (и даже одного из главных) игрока. Последний вариант и был реализован, причем, заметим, весьма успешно. Его осуществлению способствовала благоприятная для России мировая экономическая конъюнктура (попросту говоря, высокие цены на энергоносители).

Для нас самое важное, пожалуй, даже не то, что «элиты» толкнули Россию на этот путь, а то, что подавляющее большинство народонаселения радостно и не ропща по нему двинулось. Следует признать, что это один из главных исторических уроков нашего времени. И как бы факт «властенародного» единства (при вроде бы полном несовпадении первейших жизненных интересов) ни интерпретировался, он должен быть не только осознан, но и признан. Другим важнейшим фактом является стабилизация социального состава русской властной верхушки. Ее большинство, от федерального до местного уровня, составляют выходцы из партсовхозвоентгэбешной номенклатуры. И здесь нет ничего случайного: такова характерная особенность постсоветской эволюции.

Учет этих обстоятельств и есть исходная позиция для руссиеведа.

Событийный 2010-й

И сам 2010 год неожиданно стал очень важным и в истории Отечества. И запомнился он вовсе не тем, чем планировалось «сверху». 65-летие Победы – точнее, его официальная презентация – не стало главной темой года. Хотя сделано для этого было все – за ценой юбилейных торжеств власти в буквальном смысле слова «не постояли». Да и народ не остался в стороне, поддержав «верховных» всеобщим ликованием. В результате победной эйфории из массовой

памяти удалось быстро вытеснить трагедии в московском метро 29 марта и на шахте Распадская Кемеровской области 8–9 мая 2010 г. Для массы сограждан Победа – один из немногих поводов гордиться страной и собой. Поэтому россияне совсем не против конструирования смысла современного существования на основе Победы. Для подавляющего социального меньшинства, «управляющих», Победа – главная находка 2000-х, «нацидея». Ее «розыгрыш» приносит им двойную пользу – экономическую и идеологическую.

Массмедийно-демонстрационно-церемониальная, официальная и всеобщая Победа переживается исключительно как праздник, без раздумий и скорби, теша великодержавные амбиции «верхов» и «низов» и создавая иллюзию их единства (в какой-то момент подумалось: а вдруг они в этом действительно обретают единство?). Однако сконструированный ею «жизнеспасающий» образ – победно шествующего во времени «избранного» народа – быстро рассеялся под напором реальности. Презентация имела нестойкий, краткосрочный эффект. Не удалась и «затейки» «соправителей» (скорее, индивидуальные: одна – «самодержавного» премьера, другая – «самодержавного» президента) с объявлением 2010-го годом преодоления экономического кризиса и модернизационного «рывка». Невероятный рост цен, особенно в самом конце года, напомнил о неумолимо постоянной кризисности нашего существования, а сколковский проект – о традиционном варианте «верхушечной» («элитарной») модернизации для «избранных» и без народа. (Если учесть, что предыдущие попытки предпринимались *за счет* народа, можно говорить об определенном новаторстве нынешнего модернизационного замысла.)

Летняя природная катастрофа, беспрецедентная жара, помноженная на дымовое удушье, – это *первое* значимое *событие* 2010 г. – показали со всей очевидностью следующее: мы абсолютно беззащитны перед вызовами природы. Человечество еще не выработало соответствующих защитных механизмов – да и возможны ли они вообще? Однако в социальном отношении гораздо важнее другое. Десять лет мы слышим о восстановлении государственного порядка и порядка в государстве, о вертикалях, преодолении хаоса 90-х и т.п. Но летом 2010 г. все это куда-то исчезло, и мы остались один на один с погодой, природой, средой, угрозой здоровью, жизни... А ведь постепенное изъятие (и добровольная сдача) свобод 90-х, резкое ограничение свободы выбора и выборов, прямое подавление гражданского общества (целой серией ограничений, запретов и т.п.) шли под «смирняющее» сопровождение: сильная центральная (настоящая русская) власть мудро знает, что делать и куда идти; до широкой либеральной демократии мы не доросли (и строим ее всего-то десятилетие, тогда как другие – столетиями); самодержавность/недемократичность – это корневая русская традиция. Короче, власть может все, а народное счастье – в ее силе и стабильности.

На поверку это оказалось блефом, а власть, несмотря на свою «вертикальность», – социально неэффективной, декоративно-презентационной. Приведу здесь слова известного российского исследователя, сказанные за несколько лет до июльско-августовских событий: «... вопреки усилиям политтехнологов и менеджеров огосударствленного ТВ, социальную действительность не удалось “заговорить”, загнать на экран и выстроить по удобному для власти раппорту. Ни стабильности, ни благополучия, ни безопасности россияне в большинстве своем по-прежнему не ощущают. А потому не выходит праздника послушания. Выходит лишь очередной номенклатурный пшик, головоунытие и беспомощность властей, на которые массы отвечают либо привычным равнодушием, либо... недовольным брожением»¹. Это в очередной раз и с буйной отчетливостью в начале декабря ушедшего года подтвердили молодежно-погромное действо, в основе которого – официально поощряемая ксенофобия, агрессивное непри-

¹ Дубин Б. Медиа постсоветской эпохи: Изменение установок, функций, оценок // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М., 2011. – С. 177–178.

тие Другого, всеобщие неудовлетворенность настоящим и страх будущего, и реакция на него «сил порядка», вплоть до верховных.

Второе событие 2010 г. – завершение суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Суд доказал, что эти бизнесмены совершали преступные деяния, а потому должны сидеть в тюрьме. Долго. Если отбросить эмоции и попытаться подойти к судебному решению объективно и рационально, то вроде бы и возразить нечего. Они действительно виновны и заслужили наказание. Более того, прав премьер В.В. Путин – и с «вором», и с США, где за схожие действия «дают» по 100 лет и больше. Итак, дело закончено – забудьте... Но забыть не удастся. Как не удастся свести это событие к разряду третьестепенных, побочных.

Что же произошло? Родившиеся в начале 60-х годов Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, судя по всему, были обычными способными позднесоветскими мальчишками. Более того, Ходорковский, несмотря на свое еврейство (а это, как мы знаем, мешало карьере в официально интернациональном СССР), стал секретарем Фрунзенского (одного из самых престижных) РК ВЛКСМ г. Москвы. Свои особые дарования (прежде всего в смысле аккумуляции наличных социальных ресурсов) молодые люди подтвердили в конце 80-х – начале 90-х, превратившись уже в первые годы правления Ельцина в крупных российских олигархов. Совершенно ясно, что их молниеносное обогащение было «не релевантным» ни в правовом, ни в этическом, ни в каком-то другом смысле. Впрочем, так (в рамках «так» имелись, конечно, оттенки и варианты) поступали тогда практически все – те, кто сколотил огромные (и даже изрядные или солидные) состояния. А потом что-то не пошло. В начале наступившего века между Ходорковским и тогда еще молодым президентом Путиным пробежала какая-то черная кошка. На этот счет есть разные версии, ходят разные слухи. Мы, разумеется, точно не знаем, как все это было. Но было. Финал (финал на сегодняшний день) известен.

Был ли Ходорковский среди олигархов единственной «жертвой» путинского режима? Нет. Вспомним Березовского, Гусинского (наверное, и еще кого-то). Но те предпочли быстро ретироваться. Кстати, первым в тюрьму определили не Ходорковского – первым среди этой публики на нарах оказался Гусинский. Но тот быстро смекнул (или ему «смекнули»): «Папа, надо делать ноги» (цитата из фильма К. Шахназарова «Мы из джаза»). А вот Ходорковский этого почему-то не сделал. Ну и, разумеется, сам себя определил на нары. Понятно, что акция «по посадке» была адресована всему российскому «клубу» миллиардеров и мультимиллионеров. Новый президент показал им, «кто в доме хозяин». В дальнейшем тем, кто это понял, было разрешено и оставлено многое и много. Но характер взаимоотношений власти и олигархического бизнеса принципиально изменился. Смысл «новации» емко сформулировал А. Кох, яркий и циничный представитель капитала 90-х: теперь бизнес может говорить с властью только так: «Разрешите исполнять Ваше распоряжение бегом?» Ходорковский по каким-то неведомым для меня причинам – но, безусловно, это связано и с личным мужеством, и, видимо, хорошо развитым чувством личного достоинства – не смог вписаться в эту, как любят теперь говорить, «картину маслом».

А вот дальше стало происходить то, о возможности чего мы как-то уже подзабыли. На наших глазах происходил процесс, принципиально более важный, чем превращение обезьяны в человека. Вместо удачливого «скорохвата» (выражение А.И. Солженицына) очередной русской смуты мы увидели человека – обычного, нормального, который, как определил В. Аксенов, «одновременно богатый и не гад» (говоря о М. Ходорковском, мы, разумеется, имеем в виду и П. Лебедева). У В. Высоцкого есть такая строчка: «Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие». Разумеется, речь идет не об этнической трансформации. Это означает, что в нашей стране всякий русский – пострадавший, а пострадавший – русский. Причем «русский» именно в смысле – житель этой страны; этнически при этом можно быть кем угодно. Формула Высоцкого структурно напоминает рассуждение гр. Сергея Семеновича Уварова: «Если русский, – значит, православный; если православный, – значит, русский». Я думаю, Уваров оши-

бался, а вот Высоцкий нет. Во всяком случае, почти уже столетняя послереволюционная русская история подтверждает верность наблюдения поэта. Человек, живущий в России, русским может стать, лишь пострадав. Человеческое существо в России – это существо пострадавшее (страдающее).

В этом – главный итог процесса «Ходорковский – Лебедев», который стал важнейшим событием русской истории первого десятилетия XXI в. и важнейшим фактором восстановления, казалось бы, совсем увядшего в это десятилетие гражданского общества. Теперь уже не принципиально, нарушали ли законы эти «преступники». Важно то, что на глазах у всех (у всего мира) после большого перерыва русские вновь показали способность к мужественному и достойному поведению. Ходорковский доказал, что фразы из «последнего слова» на последнем (пока) суде о цене его веры, готовности идти до конца – совсем не пышная риторика. Он уже пошел до конца. А этого – вспомним Сахарова, Солженицына, Марченко, Буковского, других – не остановить ничем.

Скажу больше. Мужественное поведение Ходорковского и Лебедева в последние семь лет позволяет предположить: уходит время господства уваровской идеологии, которая по существу была подхвачена путинским режимом – «православие, самодержавие, народность» (в свое, уваровское время, это было, чтобы ни говорили профессиональные либералы, точным самоопределением России – ну, может быть, излишне резким). И на смену ей идет новая... нет, не идеология – скорее, программа, которую я, не претендуя, разумеется, на высокий уваровский эстетизм, сформулировала бы так: «пострадание», либерализм, гражданство. Русский – не православный; русский – пострадавший. Не самодержавие (в царской ли, советской или постсоветской форме) – оно уже показало свою историческую несостоятельность, но политическая свобода (либерализм). Мы уже способны к ней и достойны ее. Да и во всем мире – в том числе в отдельные периоды и у нас – была доказана ее большая эффективность. Наконец, не туманно-бесформенная народность (ныне это симбиоз Михалкова с Пугачевой плюс ЕР), но гражданское общество, гражданин, гражданское самоуправление, гражданская самоорганизация (эстетически это – если обратиться к совершенно оскандалившейся в последний год и явно, как говорили в советские времена, «морально разложившейся» сфере кино – Алексей Герман и Кира Муратова).

Знаменательно, что в предпоследний день уходящего года по всем медийным каналам транслировали две России: официальную (все больше выглядящую как уходящая натура) и гражданскую. Их и показывали одну за другой: за картинкой «Д. Медведев снова награждает в Кремле Н. Михалкова» (этот властенародный любимец и там не удержался – прошелся по Л. Парфенову, затем зачитал стихи своего отца, иронично обличающие его – отца, а значит, и сына, и всех, кто «знает, куда вести», – врагов) следовала другая – Ходорковский и Лебедев, спокойно слушающие приговор. Кроме того, множество бумажных и электронных СМИ за несколько дней до окончания суда распространили последнее слово Ходорковского, что придавало картинке определенный смысл.

В заключение заметим, что «расклад» картинок вовсе не так очевиден, как нам по привычке кажется: победа за тем, кто выносит приговор. Все наоборот. Мы это тоже уже проходили, но в погоне за «хорошей жизнью» успели забыть. На наших глазах ветшает и стремится к падению одна – властная, богатая, знаменитая, одним словом, «новономенклатурная», социально неэффективная – Россия и происходит становление другой. В этом и состоит социальный смысл 2010 года – при внешней неубедительности и пафосности выражающих его слов.

И.И. Глебова

Россия в зеркале русской поэзии

Так получилось, что в этом выпуске «Трудов...» довольно много стихотворных цитат, аллюзий на русскую поэзию. Вообще она неожиданно заняла у нас какое-то особенное место. Правда, неожиданно ли? Ответ на этот вопрос можно найти в «Дневниках» о. А. Шмемана, отрывки из которых (с комментарием нашего автора) мы публикуем. Обнаружив (на заключительных стадиях работы над «Трудами...») это, мы решили учредить новую рубрику: «Россия в зеркале русской поэзии». Нам представляется, что отечественные поэты нередко говорили о своей стране главное. Далеко не всегда это удавалось мыслителям и ученым.

В этом выпуске мы обратились к поэзии Бориса Слуцкого (1919– 1986). Его стихи не только эстетически очень хороши и не потерялись со временем, но и совершенно актуальны и созвучны нашей эпохе.

* * *

Люди сметки и люди хватки
Победили людей ума –
Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, где что дают,
Фигли-мигли и елки-палки
За хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

* * *

Никоторого самотека!
Начинается суматоха.
В этом хаосе есть закон.
Есть порядок в этом борделе.
В самом деле, на самом деле
Он действительно нам знаком.
Паникуется, как положено,
разворовывают, как велят,
обижают, но по-хорошему,
потому что потом – простят.
И не озаренность наивная,
не догадки о том о сем,

а договоренность взаимная
всех со всеми,
всех обо всем.

Ценности

Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему.
Я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года:
дело не делается само.
Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

* * *

...Не сказав хоть «здравствуй»,
смотря под ноги,
взимает государство
свои налоги.
И общество все топчется,
а не наоборот.
Наверное, не хочется
ему идти вперед.

* * *

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, полезительной, но лжи,

может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино – тошный и кромешный
запах лжи.

Продленная история

Группа царевича Алексея,
как и всегда, ненавидит Петра.
Вроде пришла для забвенья пора.
Нет, не пришла. Ненавидит Петра
группа царевича Алексея.

Клан императора Николая
снова покоя себе не дает.
Ненавистью негасимой пылая,
тщательно мастерит эшафот
для декабристов, ничуть не желая
даже подумать, что время – идет.

Снова опричник на сытом коне
по мостовой пролетает с метлою.
Вижу лицо его подлое, злое,
нагло подмигивающее мне.

Рядом! Не на чужой стороне –
в милой Москве на дебелим коне
рыжий опричник, а небо в огне:
молча горят небеса надо мною.

* * *

Покуда еще презирает Курбского,
Ивана же Грозного славит семья
историков
с беспардонностью курского,
не знающего,
что поет,
соловья.
На уровне либретто оперного,
а также для народа опиума
история, все ее тома:
она унижает себя сама.
История начинается с давностью,

с падением страха перед клюкой
Ивана Грозного
и полной сданностью
его наследия в амбар глухой,
в темный подвал, где заперт Малюта,
а также опричная метла –
и, как уцененная валюта,
сактированы и сожжены дотла.

* * *

Имущество создает преимущества
в питье, еде,
в житье, беде.
Зато временами лишает мужества.
Ведь было мужество, а ноне где?
Барахло, носильные вещи,
движимое и недвижимое барахло,
поглядывая на тебя зловеще,
убеждает признать зло.

* * *

Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом –
избой! Четыре все ее угла.

Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства – Николаичем Толстым.

Работа чтения и труд писания
была святей Священного Писания,
а день, когда я книги не прочел,
как тень от дыма, попусту прошел.

Я чтил усилья токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.

Те земли для поэта хороши,
где – пусть экономически нелепо, –

но книги продаются за гроши,
дешевле табака и хлеба.

А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!

* * *

Интеллигенты получали столько же
и даже меньше хлеба и рублей
и вовсе не стояли у рулей.

За макинтош их звали макинтошники,
очкариками звали – за очки
Да, звали. И не только дурачки.

А макинтош был старый и холодный,
а макинтошник – бедный и голодный,
гриппозный, неухоженный чудак.

Тот верный друг естественных и точных
и ел не больше, чем простой станочник,
и много менее, конечно, пил.

Интеллигенты! В сем слове колокольцы
опять звенят! Какие бубенцы!
И снова нам и хочется и колется
интеллигентствовать, как деды и отцы.

Б. Слуцкий.

«Я историю излагаю...»:

Книга стихотворений (1990)

Современная Россия

Русская история: 2010

Ю.С. Пивоваров

Вместо предисловия *post scriptum*

Когда эта работа была написана, автор понял: в ней нет цельности, она состоит из кусков. Каждый из которых сам по себе и сам в себе. И отсутствует нормальная исследовательская логика: постепенное развертывание, описание, вскрытие изучаемой проблемы (проблем). Почему? Связано ли это с тем, что научное видение автора мозаично и он не способен, во всяком случае сегодня, дать целостную картину? – Возможно. Или (наряду с этим) современная Россия представляет собой разнородное, так сказать, лоскутное образование? – Не исключено и это...

Страна историков

Нет, нет, говорить мы, конечно, будем не об истории. То есть не об истории в классическом исследовательском смысле. Весь наш интерес в современности, так сказать, в *Russia today*. Но почему же тогда: «русская история: 2010»? – Никак не ожидал такого интереса к ней у власти. Перефразируя известные ленинские слова, можно сказать: «В конечном счете, история самое важное из всех дел». С каким «шумом и яростью» обсуждается прошлое отечества. Александр Невский, нервные выборы «имени России», Сталин, война, Катюнь, учебники, фальсификации, «лихие» 90-е, высказывания первых лиц (ВВП, ДАМ, другие) государства – все это и многое другое в центре внимания общества. А взвинченные телевизионные talk-show на исторические сюжеты, которыми сменились относительно недавние политические теледебаты! Что и говорить – история *über alles!*

Так вот и я, следуя моде и общественному вкусу, обращаюсь к истории, чтобы поверить ей современность, понять последнюю через некоторые ушедшие эпохи, факты, персонажи. Разумеется, эта «некоторость» будет избирательной.

Однако прежде чем брать быка за рога, приведу несколько высказываний, принадлежащих совершенно непохожим друг на друга людям. Но их мысли очень важны для меня и поэтому я осмеливаюсь на такой «постмодернистский» компот из цитат (место которых обычно перед работой, «над» текстом; да, хочется их в «основу имплементировать»). Итак:

«Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение» (А.Х. Бенкендорф; наверное, это чуть ли не популярнейший эпиграф; кто только ни пользовал его; а ведь сказано на века, умели же это николаевские сатрапы (Уваров, Дубельт²,

² Ну, то, что уваровское «Самодержавие. Православие. Народность» – ответ ихним «Свобода. Равенство. Братство» – помнят все. Это ж наши «святцы», русская идея. А, по-моему, Леонтий Васильевич Дубельт не хуже молвил: «Вот и у нас заговор. Слава Богу, что вовремя раскрыт. Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные порядки». Это о петрашевцах в 1849 г. – Как же все-таки глубоко и органично понимали русскую психею, эссенцию эти «инородцы», «немцы» (ведь всяк чужак, за исключением фрязина-итальянца, у нас «немец», «немой»). На ум почему-то приходит циничная и несправедливая характеристика Бисмарком румын: это не нация, а профессия. Всегда удивлялся этой недопустимой грубости великого человека. Пока не «догадался»: ведь по-немецки (как и по-английски) «профессия» от

другие) ясно и точно; мне же бенкендорфовское особенно дорого, поскольку освобождает от тяжелой, ответственной, небезопасной работы – указать на «идеальный тип» исторического полагания, к которому зовет нас власть; если отбросить шелуху политкорректности, именно **такой** подход к истории близок нынешним насельникам Кремля и их «звуковым оформителям»; ведь как интересно: защитником исторической России выступает главный и славный «чекист» XIX в. (что «чекист» – не шутка, ведь III Отделение и было создано как чрезвычайная комиссия по наблюдению за обществом, выявлению смутьянов-инакомыслящих и обережению подданных от всяких тлетворных зараз; и в рамках такой работы Александр Христофорович включил прошлое, настоящее, будущее в сферу компетенции своего ведомства)).

«Что у нас хорошо: то, что не может быть так плохо, чтобы не стало еще хуже» (Ю.М. Нагибин; лучший наш эротический писатель умел сказать главное и о многом; здесь выражен непобедимый и последовательный русский пессимизм; парадоксальным образом он абсолютно непротиворечиво сочетается в лицах, людях, общественных группах с бенкендорфовским оптимизмом; и этот *mixt* вполне характерен и для патриотов и космополитов, для бизнесменов и бюджетников, для столичных и провинциальных, для старых и молодых).

«Прошлое точно так же видоизменяется под воздействием настоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие прошлого» (Т.С. Элиот, рожденный в США и ставший английским поэтом, лауреат Нобелевской премии, был парадоксалистом не только в поэзии, но и в своих философских размышлениях; его слова, видимо, следует понимать так: у вас будет такое будущее, какое прошлое вы себе выберете. К примеру: **как** Россия прочтет свое прошлое, **так** и образует свое будущее).

«Человек будущего – это тот, у кого окажется самая долгая память» (Фр. Ницше, кумир немецко-русской молодежи, философ для не-совсем-взрослых, зловещий предтеча XX в., он хорошо понимал, **какое** оружие окажется наиболее эффективным в наступавшие времена; мы проиграли столетие во многом из-за потери памяти; мы сумеем выбраться из засасывающей нас трясины **ничто**, если обречем ее).

Таковы вдохновляющие нас мысли великих и невеликих людей, таково их **мое** прочтение. – И в этом контексте спрошу: почему сегодняшняя власть столь решительно взялась за прошлое? Почему так болезненно воспринимает некоторые его интерпретации (и даже квалифицирует их как «фальсификации»; помню, в детстве находил в бабушкиной библиотеке грязно-серого цвета брошюры со страшными названиями: что-то типа об «англо-американских поджигателях войны и фальсификации истории», о «германских фашистах-фальсификаторах», «буржуазной псевдонауке геополитике и фальсификаторах»; с ранних лет боялся этого слова, пока в студенчестве не узнал, что «фальсификация» – один из важнейших методологических принципов современной науки; этот принцип ввели представители критического рационализма (среди них Карл Поппер) – господствующего ныне гносеологического принципа; «фальсификация» – это постоянная (перманентная) проверка выводов и суждений новыми достижениями, фактами, уровнем развития науки; и если выводы и суждения устаревают, теряют адекватность, от них отказываются; какую фальсификацию желает предотвратить наша власть?) – Причины-то, конечно, есть. И некоторые мы хоть и косвенно да назвали. Хочу указать на одну, весьма, на мой взгляд, опасную. У нас нет будущего. «Нет будущего» – в смысле нет никаких более или менее вразумительных предположений относительно будущего, нет его видения... В общем, решили овладеть прошлым, поскольку перспективы туманны. Сократились в пространстве и населении, не развиваемся во времени (мир убегает от нас), посему завоевываем прошлое (большевики поначалу были крутыми футуристами и отказались от прошлого; те же, кто пришел к ним на смену, ввязались в битву за него). Ретроспектива

«призвание» (Beruf, calling). То есть быть румыном – призвание. А может, и русский – не нация, народ, этнос, но – призвание? Не правда ли – красивое объяснение громадного вклада «инородцев» в русскую культуру! Пожалуй, получше ссылок на имперскость.

вместо перспективы. Империя назад – больше некуда (не получается даже в «ближнее зарубежье»). Властная вертикаль назад, в прошлое.

А теперь все-таки несколько слов об истории.

Имеется несколько «вечных» вопросов нашей истории. Они не решены и никогда решены не будут. Назову некоторые: Россия часть Европы, часть Азии, самостоятельная цивилизация? Норманнское или славянское происхождение государственности? Москва – наследница Киева или нет? Москва – наследница Орды или нет? Вообще роль монголов; далее – Смута, раскол, Петр, крепостное право, декабристы, революция, Гражданская война, Ленин, Сталин, застой, Горбачев, Ельцин. Конечно, «нерешенных» вопросов больше. И эти упомянуты весьма произвольно.

Что же тогда получается? Даже если исходить из хронологического порядка, не «решена» **вся** русская история? Нет, так быть не может. Великие и невеликие отечественные историки, мыслители, разного рода деятели разве не разъяснили нам нашу историю? Пусть по-разному и с разных точек зрения, но **in corpore они показали, как и куда** плыл русский корабль по волнам времени и пространства. – Нет, я не об этом. Я не ставлю под вопрос всю эту великолепную работу предшественников и современников.

Дело в том, что общество внутри себя не договорилось по поводу исторического прошлого. И речь идет не о единомыслии всех и вся. А об историко-культурном и ментальном **консенсусе**. Который означает: согласие по принципиальным вопросам и различные позиции по непринципиальным. Убежден, что без подобного консенсуса устойчивое и продуктивное бытование общества невозможно.

Да, но какой консенсус возможен, если автор перечисляет некоторые важнейшие темы отечественной истории и утверждает, что они никогда не будут решены? – Ответу. Хотя сам ответ содержательно простым не будет. Он потребует развернуть – хотя бы в кратком виде – определенные историософские предположения.

Но прежде подчеркнем: Россия – странная страна в своих отношениях с прошлым. Они, конечно, сложные, и их нельзя свести к чему-то одному. Однако можно выделить несколько характерных черт, которые и дают мне основание говорить о странности этих отношений.

Первое. Каждая крупная историческая эпоха в России начинается с полного разрыва с прошлым. «Петербургский период» русской истории решительно рвет с «московским». Коммунистический – с «петербургским». Посткоммунистический (нынешний), во всяком случае внешне, – с коммунистическим. Каждая крупная историческая эпоха полностью отказывается от ей предшествующей. Иными словами, разрыв преемственности есть важнейшая русская традиция. Причем, каждая последующая эпоха строит себя как принципиальную противоположность прошлому.

Второе. Все эпохи стремятся к монопольному владению прошлым. То есть русская власть, которая когда-то была метафорически квалифицирована как Моносубъект русской истории, заявляет претензию на моноинтерпретацию этой самой истории. Так происходит всегда. И сегодня тоже.

Третье. Как реакция на монопольное обладание историей, на ее монопольную трактовку обязательно рождается альтернативное видение прошлого. Где знаки – плюс и минус – расставляются с точностью до наоборот. Пример: в 40-е годы XIX в. в России появилось новое политико-идеологическое течение – славянофилы. До них в обществе господствовали следующие убеждения: Московское царство, т.е. допетровская Русь, было отсталым, косным; его существование завело страну в тупик. Но явился гений – Петр Великий – и вывел страну из мрака к свету, к европейскому просвещению. У славянофилов, напротив, допетровская Русь была царством добра и света, органическим выражением специфического русского духа, а Петр I полагался злодеем, совлекшим ее с верного пути.

То же самое – типологически – произошло и в послесталинский период советской истории. Когда историки-диссиденты «прочли» советскую историю как преступную и неудачную. В качестве образца одни из них предлагали дореволюционную Россию, другие – современный Запад.

Конечно, наиболее острой и сложной проблемой современного русского исторического сознания является отношение к советскому прошлому. Дело в том, что нынешняя Россия есть продукт, результат, во многом продолжение советской России. Мы живем в советских городах (т.е. построенных при Советах), ментально и психологически мы очень советские, нами правят типичные homo soveticus. И вместе с тем наш мир уже другой. Какой? Точно не определю. Но точно – **постсоветский**. И совершенно определенно существуют социальные необходимости, требующие от нас **преодоления** советизма...

Методологическое самоопределение

Что касается обещанных «определенных историософских предположений», то они связаны с тем, что у каждого поколения, у каждой эпохи существует потребность в историческом самоопределении, собственном видении прошлого. Поэтому каждый раз решенные (казалось бы) вопросы ставятся под сомнение, под пересмотр. Но бывают времена, когда историософская потребность ощущается особенно остро. Сегодня как раз такое время. Во всяком случае, в нашей стране, для нашей страны...

Это, с одной стороны. С другой – русское сознание всегда было ориентировано на философско-историческую проблематику. Все у нас решалось в ее контексте. Она стала «фирменным знаком», важнейшей характеристикой отечественной культуры. Однако несмотря на напряженность историософских поисков, на жар историософского горения, русская мысль и русская наука подобно иным (европейским) уложились – в общем и целом – в два подхода. Формационный и цивилизационный.

По сути, в русской традиции никому еще не удалось вырваться за их границы, сбросить эти шинели. Да, никто особо и не стремился (может быть, только Лев Шестов и отчасти Соловьев с Бердяевым; но, конечно, не их пути стали для русского ума магистральными). Впрочем, как и на вечноманящем и вечноненавидимом Западе.

Кратко рассмотрим существо и специфику этих двух господствующих типов осмысления и упорядочения исторического процесса. Без этого и вне этого, коль эти типы действительно господствуют, не подойти к теме самоопределения современного российского человека во времени и (социальном) пространстве.

Начнем с формационного как более привычного – о нем мы узнавали еще в школе. И на всю жизнь обязаны были запомнить, что мировая история, по Марксу, состоит из пяти сменяющих друг друга формаций. Все остальные подходы к истории объявлялись нашими учителями идеалистическими. Затем, став студентами, читали об «азиатском способе производства», об энергичной полемике вокруг него, которая не одно десятилетие шла (в основном) среди ученых-востоковедов. Должен сказать, что именно эта полемика посеяла во мне, студенте конца 60-х – начала 70-х годов, первые «историософские сомнения».

Но, как выяснилось впоследствии, не один лишь «азиатский способ производства» угрожал моему «школьному марксизму» с его жесткой пятичленной формулой. Оказалось, что наука (советская и зарубежная) обнаружила в классическом марксизме три варианта осмысления истории. 1. В соответствии со способом производства в истории человечества выделяются пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. 2. В зависимости от господствующего типа материальных отношений (т.е. воспроизводимым типом отношений собственности) историю можно разделить на три «крупные формации»: первичная, или архаическая, формация

с господством общей (общинной) собственности; вторичная, антагонистическая формация с преобладанием частной собственности, третья – коммунизм – основана на общественной собственности. 3. Согласно выявлению исторических типов общественных отношений зависимости и свободы, когда за основу берутся исторические способы соединения в целое общественных индивидов (т.е. природа их социальности) и конкретно-исторические способы соединения работника и средств производства. В результате в истории прослеживаются три типа, три ступени развития общества: докапиталистические (в том числе и первобытные), капиталистическое и коммунистическое³.

Конечно, эти три версии осмысления исторического процесса не противоречат друг другу, поскольку в основу положена **одна субстанция** – материальное общественное производство. И существуют они лишь потому, что сама **субстанция** рассматривается под различными углами зрения. Но мне важно подчеркнуть именно возможность различных углов зрения в рамках марксистского формационного подхода. Эта возможность, безусловно, расширяет поле историософского маневра и позволяет несколько иначе, чем в «школьном марксизме», увидеть ход исторического развития. Возникает ситуация, при которой в определенной степени снимается жесткость гомогенной стадийности пятичленной формулы. Само формационное видение становится более гибким. Хотя, разумеется, я отдаю себе отчет в том, что вторая и третья версии разработаны гораздо менее первой и являются фактически ее вариантами.

Далее. Хорошо известно, что наряду с марксистским формационным подходом к истории существует множество иных формационных подходов. Вспомним, к примеру, Кондорсе с его десятью последовательно сменяющимися друг друга эпохами мировой истории; Сен-Симона, говорившего о четырех этапах истории в соответствии с четырьмя этапами развития общечеловеческого разума: идолопоклонство (первобытное общество), политеизм (античное рабовладельческое общество), монотеизм (феодализм) и физицизм («промышленная система»). Вообще, роль Сен-Симона в становлении формационной философии истории огромна. Скажем, трудно переоценить его идею, что исторический процесс совершается путем постоянной смены созидательных эпох (данная общественная система развивает постепенно и до конца свои принципы и возможности) разрушительными эпохами (кризис данной системы, ее разрушение и начало построения на основе новой идеи более высокой общественной организации). Вспомним также Конта, сформулировавшего «позитивную теорию общественного процесса» (или социальную динамику). Он выделял в мировой истории три главные стадии, каждая из которых соответствовала определенной стадии в развитии человеческого ума, – теологическую (или фиктивную), метафизическую и позитивную. Сильное влияние на становление формационного мировоззрения оказал и Гегель (идея преемственности трех этапов мировой истории – восточного, греко-римского и германского). Вообще, позапрошрое столетие (и конец XVIII в.) было в Европе «золотым веком» формационного типа историософского мышления. Но и в XX в. западная мысль продолжала плодотворно разрабатывать эту жилу: теория модернизации (со всеми ее разновидностями), концепция «стадий роста» У. Ростоу и др.

Да, формационный подход многоцветен и разнообразен, его версии сильно отличаются друг от друга, а все вместе – от марксистского осмысления истории. И тем не менее они обладают рядом важных характерных свойств, позволяющих говорить о формационном подходе как таковом. Назову некоторые из них: «провиденциальность» общественного прогресса, уни-

³ Эта третья версия обычно строится на следующей мысли Маркса: «Отношения личной зависимости (вначале совершенно первобытные) – таковы те первые формы общества, при которых производительность людей развивается лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, – такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной общественной производительности в их общественное достояние, – такова третья ступень» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 46. – Ч. 1. – С. 100–101).

версальность (единство) истории, стадильность исторического развития, европоцентризм (в большей или меньшей степени, в разных дозах, явный или подспудный). Причем я бы сказал, что европоцентризм (шире – западоцентризм) имеет «провиденциальную» окраску.

Что же из всего этого следует? Прежде всего то, что марксистская концепция истории возникла в уже пробитом русле формационного мышления и на **определенной** стадии эволюции западного общества (историософская рефлексия именно этого общества и именно в этом его состоянии). Очень важно также помнить о его генетической связи с иудеохристианским пониманием истории. «Формационщики», безусловно, своим существованием обязаны этой традиции. Действительно, они позаимствовали (точнее – унаследовали) у христианской мысли важнейшие свои принципы и положения – универсальность истории, закономерность истории, периодизация истории (каждый период отличается от предшествующего и имеет специфические особенности, в целом история делится на две эпохи – мрака и света), провиденциальность истории – и, следовательно, определенную ее направленность, однократность, неповторимость любого события и т.д.

Однако в формационной концепции появляются и принципиально новые идеи. И в первую очередь, идея прогресса. Здесь не откажу себе в удовольствии процитировать Макса Вебера: «Мысль о прогрессе может оказаться необходимой только в том случае, если возникнет потребность секуляризованному осуществлению судьбы человечества придать посюсторонний и все же объективный смысл». Сейчас я не стану комментировать эту замечательную мысль; к ней мы вернемся несколько позже...

Мне кажется необходимым указать и на следующее кардинальное отличие формационного типа мышления от иудеохристианского. В формационном подходе к истории в качестве основополагающего появляется принцип субстанциальности. Сошлюсь на Р.Дж. Коллингвуда, на его мысль о субстанциальности античного философско-исторического видения и несубстанциальности христианского. Коллингвуд говорит, что греко-римская историософия создавалась на базе метафизической системы, главной философской категорией которой была категория субстанции. Скажем, у Платона субстанции суть объективные формы, у Аристотеля – дух. Не буду дальше излагать идеи Коллингвуда – они давно уже стали общим достоянием. Отмечу лишь, что его рассуждения о принципиальной субстанциальности историософии античного мира в высшей степени убедительны.

В христианстве же происходит преодоление субстанциальности. Метафизическая доктрина субстанции «снимается» доктриной творения. Суть ее в том, что вечен только Бог, все остальное сотворено Им. Человеческая душа не существовала всегда (*ab aeterno*), в **этом** смысле ее «вечность» отрицается. Каждая душа – новое творение Бога. Единственной субстанцией признается Бог, его субстанциальная природа – непознаваема. Впоследствии Фома Аквинский отвергает концепцию Божественной субстанции, для него Бог – чистая деятельность, *actus purus*. Но в рамках формационного подхода происходит возрождение субстанциальности, восстановление ее в правах. У Маркса субстанциальной основой истории является материальное общественное производство, у Сен-Симона и Кон-та – общечеловеческий разум, у Гегеля – мировой дух и т.д.

Теперь о цивилизационном подходе. Здесь прежде всего следует назвать имена Н. Данилевского, К. Леонтьева, евразийцев, О. Шпенглера, А. Тойнби, А. Вебера, М. Вебера, Р. Макивера, П. Сорокина и др. Их концепции родились в лоне современной западной культуры (или, если речь идет об отечественных мыслителях, – в лоне «европейской культуры на русской почве») и, следовательно, здесь немало схожего с формационным подходом. Так, к примеру, сохраняется **принцип развития** – культуры (культурно-исторические типы, цивилизации, общества) развиваются, проходят различные стадии (*genesis, growth, breakdown, desintegration* – у Тойнби; стадии «первоначальной простоты», «положительного расчленения» или «цветущей сложности» и «вторичного смесительного упрощения» – у К. Леонтьева и т.п.). От ряда

принципов, характерных для сторонников формационной концепции, теоретики этого круга отказались. Правда, одни принципы отброшены полностью, с другими окончательного разрыва не произошло.

Как ни странно, к таким принципам относится принцип единства мировой истории. Казалось бы, именно здесь один из центральных моментов расхождения между сторонниками формационного и цивилизационного подходов. Но, видимо, эта идея настолько усвоена европейским сознанием, что совсем избавиться от нее крайне трудно. Пожалуй, это удалось лишь одному Шпенглеру, у которого культуры – поистине лейбницевские монады. Что касается остальных, то у них наряду с отрицанием единства мировой истории (вернее, его догматизации и абсолютизации) в той или иной форме и в разной, конечно, степени этот принцип присутствует. Во всяком случае, он дает о себе знать, оказывает воздействие на логику и этос мышления. Ну а главная схожесть состоит, безусловно, в субстанциальности, она имманентна историософии Данилевского и Шпенглера не меньше, чем Конта и У. Ростоу. Только «материя» субстанций иная, и у каждой культуры она своя, неповторимая. Скажем, согласно Шпенглеру, в основе любой культуры – лишь ей одной присущие органическая структура, пластический «жест», инстинктивный такт, ритм, «повадка». В своей совокупности они и составляют субстанцию **этой** культуры. А уже субстанция придает человеку этой культуры (человеческая природа понимается как материал культуры) **собственную** форму. Каждая культура обладает **собственной** идеей, **собственными** страстями, жизнью, волей, манерой восприятия вещей и умирает собственной смертью.

Я думаю, что появление цивилизационных концепций связано и с осознанием определенной узости, «недостаточности», одномерности формационного подхода, и вообще с кризисом эволюционистского, прогрессистского, либерального, позитивистского сознания. Сыграло роль и развитие науки, в первую очередь – востоковедения. Наверное, не случайно и то, что крупным очагом цивилизационного осмысления истории стала Россия. Уж очень трудно ее исторический путь уложить в формационные схемы. Не помещаются в них неповторимость и своеобразие русской судьбы. В еще большей мере это относится к культурам Востока (хотя и в русском, и в восточных обществах существовали и другие причины, стимулировавшие развитие цивилизационной историософии). Но, повторяю, мой тезис заключается в том, что эта группа цивилизационных теорий есть также продукт западного (или вестернизированного) историосфского сознания.

Свидетельством, подтверждением **неантагонистичности** – на глубинном уровне, в самом важном – формационного подхода (если отсечь его наиболее радикальные и жесткие версии) и цивилизационной мысли служат весьма распространенные в западной науке «смешанные», компромиссные концепции. Их авторы пытаются, весьма безуспешно, преодолеть недостатки и крайности обоих подходов и, используя сильные стороны как цивилизационного, так и формационного видения, создать некую третью, синтетическую и более адекватную теорию истории человеческого рода.

Таковыми – в самом общем и вынужденно-поверхностном виде – представляются мне формационные и цивилизационные подходы к истории. Какой из них предпочтительнее, за каким будущее? Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Формационный в значительной степени отражает исторический путь народов Европы. Цивилизационный много дает для понимания своеобразия той или иной культуры. Попытки некоторых сторонников цивилизационной теории поставить под сомнение единство мировой истории представляются мне неубедительными (особенно шпенглеровское направление – культура как монада). Хотя и жестко-догматический вариант формационного подхода, думаю, не менее ошибочен. Меня вполне удовлетворяет тезис, согласно которому человечество имеет единые истоки и общую цель (К. Ясперс). Серьезным подтверждением идеи единства мировой истории представляются концепции типа «осевого времени» того же Ясперса. И даже если он (или кто-то другой) в чем-

то ошибается, в главном – в ощущении взаимосвязи, взаимозависимости различных отрядов человечества, в наличии у них «общего дела», – конечно, прав.

Однако при всех своих заслугах оба этих подхода, мягко говоря, несовременны, т.е. перестали быть историософской рефлексией, адекватной духу эпохи. И дело совсем не в том, что и у формационного, и у цивилизационного подходов есть противоречия, нерешенные проблемы, пределы (и географические, и собственно научные) применимости. Этого как раз бояться не стоит. Когда-то Ханна Арендт заметила, что у второстепенных мыслителей трудно найти фундаментальные противоречия, у великих людей – противоречия в сердцевине творчества. То же можно сказать и о всякой крупной, подлинной попытке осознания исторического процесса. А ведь формационная и цивилизационная именно таковы. И я убежден, что не бывает непротиворечивых, не «ограниченных» тем-то и тем-то, если их продумать всерьез, теорий исторического процесса.

Да, неадекватность духу эпохи этих вариантов историософского видения объясняется не какими-то их частными изъянами. Все гораздо серьезнее. На рубеже XIX–XX вв. в результате открытий естественных наук, прежде всего физики, родилось принципиально новое понимание мира. Так, в ходе научной революции была утеряна материя (помните «Материализм и эмпириокритицизм»? Помните, как всполошился Ильич?). Точнее: исчезла материя в **старом** смысле. Зато была обретена в качественно ином, таком, что аж дух захватывало.

А за пропажей материи куда-то скрылась и **история** (в **этом** «гадов-физиков» винить, конечно, не стоит). Или то, что под историей привыкли **полагать** в XIX (и раньше) в. Внезапно это полагание, этот **смысл** развоплотились. Оборвались историческое время и людская жизнь, которые соответствовали и вытекали из этого полагания. Оборвалось то, что летом 1903 г. наблюдал из окна купе второго класса поезда Оренбург – Москва одиннадцатилетний гимназист: «Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, историей, а третьи еще как-то» («Доктор Живаго»).

«После Освенцима не может быть истории». Эти слова Теодора Адорно могли бы быть эпиграфом к XX столетию. Не может быть истории в том смысле, какой придавали ей либералы и консерваторы, марксисты и позитивисты, социалисты и... остальные. К сожалению, средствами русского языка описывать эту ситуацию не очень просто. Зато есть смысл воспользоваться немецким, в котором «история» – это «Historie» и «Geschichte». То есть «история» передается двумя различными понятиями.

Коллингвуд как-то заметил: история – это действия (деяния) людей в прошлом. И не более того. Так вот история-*Geschichte* (родственный глагол *geschehen* – случаться, происходить) равна коллингвудскому определению. История-Historie есть философское осмысление, интерпретация того, что было действиями людей в прошлом. Другими словами, историософ (историк от Historie) **пишет** (именно так!) историю. Во-первых, с каких-то определенных мировоззренческих **позиций**, во-вторых, **зная**, что будет потом. А история (от Geschichte), когда она свершается, если можно так сказать, не имеет позиции и еще не знает. Здесь коллизия, непримиримое противоречие. Где же выход?

В признании того, что история – это только Geschichte? (Кстати, пятнадцать лет назад я склонялся к этому. См., например: Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX – первой трети XX столетия. М., 1997.) Разве можно действиям людей приписывать некие им (действиям и самим людям) внеположные смыслы, законы и пр., людей же выстраивать в

колонны и заставляя маршировать по ступенькам формаций или в пределах своих цивилизаций? Да, этого делать не следует. В XX в. история обманула нас; и все историософии растаяли как в тумане (к сожалению, не в «сиреневом», а – в кровавом).

Но одновременно с этим никогда (и ни у кого) не получится свести историю лишь к *Geschichte*. Человеческая природа – хотим мы этого или нет – заставит нас историософствовать. Весь вопрос в том, **как?**

Первое. Наше отношение к истории должно перестать быть **субстанциальным**. Понятно, что субстанциальные подходы к истории (формационные, цивилизационные) притягивают к себе, завораживают, дают прочные опоры, казалось бы, подлинное знание, уверенность в наличии у истории объективного смысла, законов развития и т.п. Но субстанциальность – в **конечном счете** – означает, что **последняя ответственность** остается за некоей – исторической, надисторической – необходимостью. Человек (личность) в рамках таких подходов остается всего лишь индивидуальным проявлением какой-то высшей ценности, подчиненной частью какого-то иерархически организованного целого.

Второе (и оно тесно связано с первым). Следует признать, что история- *Geschichte* – процесс принципиально открытый. Это действие, не имеющее **расписания**, повестки дня. Отсюда – прямой путь к отказу от эсхатологического и прогрессистского типов осмысления истории.

Вот здесь как раз место и время для того, чтобы прокомментировать приведенную выше мысль М. Вебера о прогрессе. Вне всякого сомнения, идея прогресса придает истории **упорядоченность** и то внутреннее напряжение, без которого невозможны были «великие стройки» Запада. Но веберовская трактовка прогресса замечательна не только сама по себе. Она как бы отталкивается, отправляется от какой-то иной идеи, прогрессистской, предшествовавшей. Конечно, подразумевается эсхатологическая – придающая потусторонний (и, безусловно, объективный) смысл судьбе человечества и обслуживающая потребность в религиозном, сакральном ее осуществлении. Так, помимо прочего, устанавливается содержательная и логическая связь между эсхатологией и прогрессизмом и открывается возможность рассматривать прогресс как **обмирщенный** вариант эсхатологии. И не затушевывается их сущностное различие.

Сделаем здесь небольшое отступление. И зададимся вопросом: **как** происходит переход от идеи эсхатологии к идее прогресса (перевернутому обмирщенному эсхатологизму)? В свое время этот процесс на русском «материале» замечательно описал отечественный исследователь Г.М. Прохоров: «...в XVII в. культурный авангард Руси делает дальнейший поворот к будущему... Старообрядцы и никониане, равно тянувшиеся прежде к вечности, разошлись в дополнительных устремлениях, векторах “второго порядка”. Никон и его сторонники устремились как к идеалу к будущему – будущему всего православного мира (вечность-в-будущем), а старообрядцы к прошлому – прошлому русской национальной духовности (вечность-в-прошлом)» (11, с. 16). И далее, перебрасывая мостик от церковного раскола к Петру: «Если у Никона будущее как идеал (социальная задача) еще уступает вечности, то у Петра Первого политика (будущее) берет решительный верх над религией (вечностью). Самоопределение по вероисповедному принципу (в свое время потеснившее принцип родовой) сдает позиции самоопределению по политической принадлежности, что... в целом указывает на конец Средних веков» (там же).

Итак, политика берет верх над религией, становится предельной **социальной** ценностью. В Европе это оформляется Вестфальским договором 1648 г. То есть «отсталая» Русь и «передовой» Запад осуществляют эту коренную трансформацию практически синхронно.

И еще одно очень важное обстоятельство. И эсхатологизм, и наследующий ему прогрессизм покоятся на линейном понимании истории. Которое, и это хорошо известно, пришло на смену циклическому; вернее, пониманию истории как циклического круговорота (правда, в привычном христианско-научно-европейском смысле здесь нет истории, исторического времени, развития и т.д.; жизнь человека и основополагающая временная единица (к примеру,

год) слагаются из раз и навсегда данных, неизменных, повторяющихся элементов; не человек владеет «историей», а «история» человеком, определяет его судьбу, поведение). Однако и оно, линейное видение, ныне мало что дает для уяснения происходящего. Ведь если отказаться и от эсхатологизма, и от прогрессизма, весь *raison d'être* этого подхода исчезает. Не нагруженное этими идеями линейное развитие становится абсурдно-пустым, ничем, так сказать, не обеспеченным. Оно вообще тогда трудно представимо; не можем же мы всерьез считать, что этот автомобиль движется не из пункта «А» в пункт «Б», а просто из ниоткуда в никуда...

Так что же взамен? Что на место и вместо цивилизационно-формационного дискурса? Ну, во-первых, перед нами не стоит задача разрушения этого Карфагена. Его уже нет (и без нас). Ему, как сказала Н.Я. Мандельштам, разможили голову тем же «железным ободком, которым проломили череп Тициану Табидзе». Во-вторых, прежде чем формулировать какую-либо историософскую альтернативу, мы должны определить свое **местоположение**. Где мы? Куда загнал нас XX в.?

Предшествовавший ему XIX в. был полон всяких «литературных» ужасов и сногшибательных научных открытий (Дарвина, например). Однако и Кьеркегор, и Достоевский, и Ницше, и другие оставались в пространстве слова, текста. Следующее столетие трансформировало все это в **дело**. Люди подтвердили, что происходят от обезьян, что Бог умер, что бытие определяет сознание и пр. Применительно к России об этом весьма ярко написано на последней странице «Доктора Живаго»: «Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, – грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это Блоковское “Мы, дети страшных лет России”, и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптически, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети – дети, и страхи страшны, вот в чем разница».

Да, вот в чем разница. «Литература» обернулась злом. «Зверь, лизнувший крови» (Роза Люксембург о Ленине) – самым человеческим человеком. А все мы вместе оказались припертыми к последней черте, последним рубежам. Но именно это столетие и эти рубежи стали «местом и временем», на которых разворачивается, как сказал бы Лев Шестов, «великая и последняя борьба» за смысл того, что значит быть человеком» (8, с. 79). Ушедший век был не только эпохой воцарившегося зла, когда миллионы и миллионы, целые народы уверовали в необходимость уничтожения себе подобных как в нечто абсолютно неоспоримое, он был эпохой героического сопротивления злу и мужества, которое, по справедливому мнению Пауля Тиллиха, есть категория онтологическая. «Эта борьба за человека и является “действием... ведущим в какое-то другое смысловое пространство”» (там же, с. 73).

На этих рубежах и надо строить новую философию истории. Необходимы новая антропология, новое понимание и самопонимание человека. Это и будет обретением «другого смыслового пространства». Иными словами, на смену социальной революции прошлого века должна прийти персоналистская революция. Именно революция, а не реставрация, восстановление в правах и тому подобное. Это будет антропология человека, не просто заглянувшего в бездну, но и – хотя это, кажется, непредставимым – коснувшегося ее. Антропология человека, дотронувшегося до пылающих адским огнем и мертвенным льдом глубин.

Итак, или философия истории (тип исторического понимания) станет по-преимуществу **персоналистской**, или не нужна (не возможна) никакая.

В каком же смысле **научно** антропология должна предшествовать историософии? Ответу на этот вопрос, используя пример науки мне близкой – *political science* (это, как уже неоднократно приходилось писать, не вполне то, что у нас полагают «политологией»). Более тридцати лет назад известный немецкий философ Г. Майер отмечал: «Не отсутствие концепции государства есть проблема нашей политической науки, проблема состоит в том, что

до недавнего времени господствовала концепция, которая не основывалась на определенной, неизменной антропологии; это лишало политику и государство их всеобщего характера» (5, с. 96).

Итак, антропология должна предшествовать политике и государству. Эти последние, по мнению другого крупнейшего немецкого мыслителя А. Гелена, наряду с семьей, языком, правом суть **антропологические институты**. То есть некие **сущностные возможности**, которые реализуются (или не реализуются) в истории (см.: 2, с. 245). Следовательно, **определенная** антропология влечет за собой **определенный** способ и тип манифестации человека в историческом процессе. Или, короче – сам исторический процесс. В **этом** смысле антропология предшествует истории, историософии.

Однако здесь возникают некоторые сомнения. И связаны они вот с чем. Мы говорим: персоналистский подход к истории. Но персонализм, понятие личности суть родовые признаки исключительно одной религии: христианства. И, соответственно, цивилизаций, им порожденных, – византийской, европейской, русской. Другие религии темы «личность» не знают. Так же как и основывающиеся на них цивилизации (всю доказательно-объясняющую часть я опущу, она общеизвестна).

И в **этом** смысле, наверное, правы те исследователи, которые говорят об уникальности и «отдельности» христианских культур. Прежде всего – западной. Иными словами, с одной стороны, она, с другой – все остальные. Действительно, если взять две основные категории философско-исторического знания – «время» (социальное время/вечность) и «пространство» (локальное/внелокальное), – мы убедимся в наличии этой фундаментальной несхожести (см. табл.).

Таблица

| | | | |
|---|--------------|----------------|---|
| Восток (или все нехристианские цивилизации) | Пространство | Локальность | Вечность-в-настоящем (в христианском смысле проблема времени/вечности не артикулирована, время не отделено от вечности) |
| Запад (или христианская цивилизация) | Время | Внелокальность | Вечность вынесена из настоящего (за пределы социального порядка, трансцендирована)* |

* Настоящая таблица является усеченным и несколько «исправленным» вариантом таблицы, впервые опубликованной в работе «Русская Система» (авторы – Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов). См.: Политическая наука: Теория и методология. – М., 1997. – № 2. – С. 130.

Таким образом, все нехристианские цивилизации развиваются в локальном (ограниченном) пространстве и не знают социального времени. Христианская цивилизация полагает себя в социальном времени и внелокальном (неограниченном) пространстве. Она – по своим базовым установкам – всемирна и универсальна. Главным образом потому, что христианство впервые и единожды (в мировой истории) создало индивидуального (исторического) субъекта, независимого ни от каких локальных коллективно-племенных форм. Причем этот субъект носит персоналистский и социальный характер. Персоналистский, поскольку христианство – личностная религия: в ней, как уже говорилось, и возникает тема «личность». Недаром на известной картине Н.Н. Ге Христос молча опускает голову, когда Понтий Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Ведь истина в христианстве не «что», а «Кто». Он, Христос, и есть Истина. Социальный, поскольку этот индивидуальный исторический субъект помещается в обществе. В то время как реальный субъект локальных азиатских цивилизаций вынесен за обществен-

ные рамки и существует в виде либо мировых без-личностных законов (ме, карма, дао), либо зооморфных богов⁴.

Отсюда-то и растут мои сомнения. Персоналистский подход к истории, персоналистская историософия возможны и органичны лишь в пределах христианского мира. Ведь социально-исторически христианство находится в неких границах. Его универсальность и всемирность только интенциональны.

А мы, русские, способны ли соучаствовать в формировании персоналистской историософии? Думаю, да. И даже, наверное, можем сыграть здесь особую роль. Во-первых, мы страна христианская (что бы там ни было). Во-вторых, православно-русский извод христианства имеет свою существенную специфику; и именно она окрасит персоналистское видение в те самые – неповторимые тона. В-третьих, русский человек в последнем столетии так нахлебался горя, что, если сумеет извлечь из этого урок, он, не исключено, окажется небесполезным для всех. Все это так. Но и здесь есть сомнения. И состоят они в следующем.

Разумеется, русский коммунизм не был случайностью. И относиться к нему как к чему-то такому, о чем поскорее хотелось бы забыть, перевернув страницу, поскорее бежать прочь, нельзя. Напротив, в него стоит всмотреться. И тогда увидим не только коммунизм сам по себе, но и то, что зрело и, увы, вызрело в отечественной культуре, увидим многие родовые черты русского феномена.

Наше сознание (и наша мысль) не знает (в общем и целом) различия бытия (*Sein*) и долженствования (*Sollen*), на котором построены и западная философия, и западная социальная система. Русский опыт – это взаимопроникновение *Sein* и *Sollen*, их переплетение. Точнее: нет никаких отдельных друг от друга бытия и долженствования, есть некий социокультурный «андрогин» – *Sollen-Sein* (в одно несуществующее слово). Коммунизм и был апофеозом этого «андрогина».

Заметим: это не единственное химерическое с научно-европейской точки зрения явление, произрастающее на Великой русской равнине. Смею напомнить, к примеру, о властесобственности. Или вот еще: эсхатологизм-прогрессизм. В рамках отечественной культуры эсхатология сплетена с прогрессом. Одно переходит в другое, одно есть другое. Эсхатология парадоксальным образом лишена потустороннего измерения, а прогресс вырывается из границ посюсторонности. «Сказка» становится «быль», «быль» превращается в «сказку». То же самое можно сказать и об андрогине «Historie-Geschichte». У нас они сиамские близнецы (правда, пожирающие друг друга)...

Полной реализацией такой самобытности и стал русский коммунизм. Тенденции он превратил в железобетонные факты, мечтательную нерешительность – в грубый волевой напор, мягкотелый релятивизм – в стальной, закаленный арктическими вьюгами детерминизм. Но главное: коммунизм был ударом в солнечное сплетение русского общества. Ударом в человека, в христианской стране – в личность. Однако ударом настолько коварным, что сами люди даже сегодня до конца не могут уразуметь происшедшего. Коварность же коммунизма в том, что он представляет собой абсолютную власть всех... над одним. Это предельно массовая власть, утверждающая неограниченное господство человека над историей и природой и требующая ради реализации этого безупречного социального порядка лишь одного, пустякового, – растоптать личность (в христианском смысле). Причем, когда мы говорим «власть всех над одним», этот один всегда – «ты». И ты, и ты, и ты тоже... Избежать не удастся (не удалось, свидетельствую) никому. Ни тов. Сталину, ни другим товарищам, ни тем, кому тамбовский волк товарищ. Помните: «Ты, я, он, она, вместе целая страна»...

Впрочем, достаточно историософии и историософских предположений. Вместо выводов процитирую двух великих людей XX столетия. Раймон Арон: «L'homme est dans l'histoire,

⁴ Об этом также подробнее в «Русской Системе».

L'homme est historique, l'homme est histoure». Борис Пастернак: «История не в том, что мы носили, / А в том, как нас пускали нагишом». – Как говорится, привет историкам «повседневности», историкам «фактов», «рабам» архивов.

Еще немного методологии

Но для наших целей – понимание российского общества в разных его измерениях – одной историософии мало. И далеко не достаточно «сменить вехи» в ней. Хотя, конечно, необходимо. Надобно вообще перейти на какие-то иные методологические позиции. На какие – ясно и определенно не скажу. Как и прежде, нахожусь в постоянных методологических сомнениях. Вместе с тем привычные для отечественной науки подходы, еще недавно как будто бы всех устраивавшие, на глазах становятся контрпродуктивными, теряют свою объяснительную силу. Дело, наверное, в том, что изменился *Zeitgeist* и эти подходы перестали ему соответствовать. Ну и, наверное, феномен «СССР» настолько феноменален, что требует методологической ревизии, методологической перемены, методологического **расширения** (почему выделено это слово, станет ясно чуть позже).

Итак...

Исследователи, наблюдатели, современники не могут понять, что происходит в России: то ли строится какое-то новое общество – тогда какое; то ли возрождается советское общество – но в каких облициях; то ли появился какой-то *mixt* «старосоветского» и нового. Все настолько противоречиво, что ничего неясно: у нас рыночная экономика или превалирует государственное регулирование, мы свободны или нет, советские мы люди или какие-то другие, верим мы в Бога или нет, бедные мы или богатые и т.п.? Есть масса доказательств в пользу и одного, и другого.

Такая противоречивость, видимо, характерна для всех современных обществ. Дело лишь в разнице противоречий.

Но наша проблема – в другом. Русская история, помимо всех своих известных традиций и закономерностей, даже «повторяемостей», обладает еще одним свойством – константой социального бытия, сохраняемой, несмотря на все громадные изменения. На это, с моей точки зрения, обращается недостаточно внимания, хотя оно является очень важным для понимания некоей русской «энтелехии»: того, что можно назвать «русским» (по аналогии с немецким, французским, польским). Учет этого качества очень важен и для ответа на вопрос: что же у нас происходит?

В чем же заключается это качество? – Россия не решает своих ключевых вопросов (не находит решения, ключа), а изживает их.

Поясним то, что мы хотим сказать. Во второй половине XIX – начале XX в. главной проблемой России был «аграрный кризис». Страна не сумела его преодолеть, несмотря на героические, гигантские шаги и меры по его решению. Он был изжит. Образно говоря, произошло так: история пинком вышибла аграрный кризис из повестки дня и, сказав – «будет так», устроила всё на совершенно иной лад. Не община, хутора/отруба, – а колхоз/совхоз. Потом и последних не стало; общество вычеркнуло из «повестки дня» аграрную проблематику. Другие примеры. Ввели демократию – не получилось; вводим управляемую демократию. Стали строить социализм – запутались в противоречиях. – Ну его! Будем строить капитализм. Это важнейшее русское качество, это – «русское».

Так почему же Россия не может решить своих главных социальных вопросов? Есть две важнейшие предпосылки.

1. У нас по сей день не произошел тот перелом в сознании, в ментальности, который давно уже «случился» в более «удачливых» христианских странах. Что имеется в виду? В Средние века и в раннем Новом времени в Европе сформировался современный тип сознания –

абстрактное рациональное мышление. Естественно, что европейцы этих эпох его не придумали. Они завершили строительство этого здания, которое столетиями ваяли в рамках сначала греко-римской, а затем христианской традиции.

Вот элементарный пример того, в чем суть этого мышления. Когда мы говорим «стол», – это и конкретный стол, который стоит перед нами, и категория для обозначения всех возможных столов. То есть здесь фиксируются и единичность, и всеобщность.

А что из этого следует? – Не только прогресс науки с XVII в., когда был найден инструмент для изучения и описания мира. (Это гениально зафиксировано в живописи XVII в.: например, портрет астронома кисти Вермеера, хранящийся в Лувре, – это портрет конкретного человека и всего человечества как некоей сущности, некоего социобиологического вида.)

2. Эта трансформация сознания привела к изменению типа общества. Произошел переход, условно говоря, от традиционного социума к современному, в котором мы с вами живем. Что это означает? В основе нового типа сознания лежит принцип соединения «несоединимого»: единичности и всеобщности. Но, конечно, не случайно он появился в христианском мире: сама идея Троицы предполагает единство единичности и всеобщности – Бог обозначает и какую-то одну сущность, и три разные сущности. И что ни в какой мере не является противоречием. Или это то противоречие, которое дает жизнь.

Утверждение такого типа сознания предполагает обязательность альтернативно-целостного мышления. Целостность строится на принципе альтернативности; альтернативность есть обязательное следствие целостности. И вот какое общество возникло в результате этого и многого другого. – Оно целостно, поскольку хаос, анархия, смута, распад, которые ему постоянно угрожают, постоянно же преодолеваются. Во всяком случае, тенденция такова. Но целостность общества обязательно предполагает наличие относительно автономных сфер жизнедеятельности человека: политики, экономики, права, культуры, религии, эстетики и т.д. А также наличие различных социальных, профессиональных, конфессиональных и т.п. групп.

И вот что самое важное: самостояние и целостность европейско-христианского человека необходимо включает в себя множество его идентичностей. И, повторим, именно это множество и обеспечивает целостность и устойчивость. Это означает, что один и тот же индивид одновременно сторонник той или иной политической партии, член той или иной экономической группы, того или иного религиозного объединения, сторонник одних или других жизненных идеалов. То есть человек представляет собою совокупность различных идентичностей, и ни одна из них не является определяющей. Определяющей является их неповторимо индивидуальная совокупность – у каждого своя.

Кстати, в этом коренное заблуждение марксизма, который полагал самой важной характеристикой индивида его отношение к собственности. (То, что было для западного марксизма заблуждением, для русских стало одной из важнейших причин трагедии XX столетия.) При этом человек как комбинация идентичностей в различных социальных сферах не является рабом раз и навсегда **этой** комбинации. Она может меняться в ходе его жизни: переход в другую религиозную конфессию, обретение нового экономического статуса и социального положения. Но еще раз подчеркнем: именно плюральность (или плюрализм) обеспечивает единственность и единство, неповторимость человека, его устойчивость как общественного индивида и, соответственно, устойчивость всего общества. Плюральность является залогом развития общества, его движения, того, что оно не застывает в раз и навсегда «данных» ему формах. Общественное развитие предполагает постоянное перманентное изменение идентичностей в человеке и обществе, которое может происходить как в драматических революционных формах, так и в более мягких эволюционных.

Здесь мы подошли к главному для нашей темы вопросу. Человек в таком обществе обречен на постоянный выбор. Выбор – это ключевое слово для современной личности. Если хотя бы в одной из сфер своей жизнедеятельности она лишена права выбора, начинается разложе-

ние всего общества, а не только этой сферы. – Именно потому, что все общество построено на выборе.

Но обратим внимание: речь идет о выборе христианско-европейского типа. С одной стороны, это выбор в рамках той или иной сферы (религиозной, экономической, политической), с другой – выбор во все расширяющемся пространстве общества. Под расширяющимся пространством общества – и это тоже одно из качеств западного социума – имеется в виду не пространственное или количественное расширение (хотя возможно и это), а прежде всего расширение, так сказать, качественное – умножение его качеств.

Например, XX век последовательно привнес в общество новые важные для него сферы: открытие подсознания и бессознательного как одну из определяющих сфер, в которой во многом протекает жизнь людей; сферу взаимоотношения мужчины и женщины, где утверждается равенство полов; электронную сферу, целый электронный мир, в котором человечество реализует себя (электронное правительство, электронный документооборот и т.д.) (кстати, ей предшествовало развитие вообще сферы СМИ); экономическую сферу и т.д. И во всех старых, традиционных и новых сферах человек стоит перед выбором.

При этом происходит усложнение индивида, поскольку увеличивается количество сфер, где он обязательно должен сделать выбор. И природа этого выбора так же очень сложна, как и природа самого общества. Во-первых, выбор постоянен. Во-вторых, он сам предполагает возможность смены предпочтений. В-третьих, выбор не может разрушить целостность ни конкретной сферы, ни всего общества. Выбор, ведущий за пределы данной сферы, данного общества, самоубийствен как для индивида, так и для всего общества. Именно поэтому в социуме существуют защитные механизмы различного типа – религиозные, культурные, правовые и т.д.

Вся эта сложность, повторим еще раз, связана с современным типом сознания. Вот пример: вопрос о собственности. Он относится как к правовым, так и к экономическим сферам жизнедеятельности общества. Европейская история знает различные виды собственности – частную, корпоративную, государственную или собственность на землю, средства производства, на недвижимость. В прошлом Запад знал собственность и на человека в форме собственности на его тело, время и волю. XX век «придумал» смешанные формы собственности, интеллектуальную собственность и право собственности человека на свое тело. Да, формы собственности разнообразны, человек имеет возможность выбора, но есть то, что объединяет разнообразие. Это, во-первых, всеобщий правовой характер, во-вторых, социальная ответственность всех форм собственности перед обществом как целым. Как только начинает разрушаться равновесие между плюрализмом и целостностью, запускаются в работу защитные механизмы общества. Скажем, экономическая история Великобритании и Франции XX столетия – это история сменяющих друг друга через определенные промежутки времени приватизаций и национализаций, каждая из которых была призвана вернуть равновесие различных форм собственности.

Типичный пример современного человека – герой кинофильма «Красотка», роль которого исполнил Р. Гир. Он постоянно покупал разорявшиеся компании, помогая их банкротству, а затем продавал их по частям и получал прибыль. То есть это человек, специальность, повседневность которого связана с постоянным выбором, который, однако, ограничен официально-правовыми внятыми правилами игры (проходит только в их рамках) и принципом экономической эффективности. В случае нарушения правил деятельность этого человека станет невозможной и ненужной этому обществу. Далее, его выбор «связан» культурными и этическими нормами, господствующими в этом обществе. Условно говоря, экстремизм выбора человека купируется здоровым консерватизмом окружающей его среды, коллективным бессознательным этой среды, блокирующими излишество и чрезмерность того или иного выбора.

То же самое в других социальных сферах. Человек владеет своим телом, т.е. физическим здоровьем, психикой и т.д. Но если какие-то группы выбирают алкоголизм и наркотики, общество в тот же час начинает борьбу с выбором в «пользу» саморазрушения.

Или тема религиозности, конфессиональности и свободы совести. Человек может быть убежденным католиком, потом в силу каких-то причин стать атеистом. Но он все равно останется в пространстве религиозно-христианского выбора и в пространстве культуры, т.е. в поле действия христианско-католического понимания того, что есть добро и зло, что можно и чего нельзя. Более того, человек, оставаясь католиком, может перестать быть ревностным прихожанином, сохранив некоторые основы католической веры, но резко отдалиться от церкви.

Какой же из всего этого вывод может извлечь отечественная наука? Какой методологический подход «вычитывается» из этого полагания? Отвечу коротко: **поссибилистский** (от английского «possibility» – возможность) **подход**. Далее раскрою в чем, на мой взгляд, его суть. При этом придется повторить ряд положений из приведенного суждения. Этот повтор необходим не для заучивания, а для усиления контекста.

Советско-русский марксизм, ленинизм, по-прежнему имеющий неплохие позиции в нашей науке, утверждает: место человека в обществе определяется его классовым положением. Ты – пролетарий, ты – буржуй, etc. Всё, на этом точка. Тебя – на руководящую работу, тебя – к стенке. Индивид обладает одной идентичностью (если даже допускались еще какие-то, то как третьестепенные, несерьезные, неважные), и она детерминирует твою судьбу. Классовая принадлежность – эта идентичность была припиlena к человеку намертво, что оказалось похуже античного рабства, средневекового крепостного права, североамериканского рабовладения. Она была безвыходной, безвыборной.

Но возможен и принципиально иной подход: Именно: **возможен**, поскольку он **возможностный**. Причем в двух смыслах. **Первое**. Предполагает у субъекта несколько идентичностей (мы уже обсуждали это). К примеру: житель ЕС, француз, католик, предприниматель, мужчина, член такой-то партии, член Общества по охране окружающей среды, etc. **В каждом отдельном случае** этот человек может **выбирать** себе преобладающую идентичность. И главное здесь – сам **факт выбора**. Свобода выбора есть **онтологическое качество** человека. При этом следует помнить: выбор всегда ограничен. Это то, что является непреодолимым барьером для социальной энтропии (и это обсуждалось нами). Хотя, конечно, история знает примеры преодоления этого барьера. Как правило, выход за пределы, скажем мягко и нейтрально, культуры есть суицид индивида и(или) социума. Христианство является нагляднейшей «демонстрацией» и онтологичности свободы выбора, и гибельности отказа от этой свободы, и самоубийственности, игнорирования «барьеров», «рамок» etc. **Второе**. **Возможностный** подход означает **принципиальную необходимость** различных, с разных позиций, теоретических описаний исследуемого предмета. Почему? Здесь несколько «резонов». Сначала отвечу околично. Вспомним уравнение Шрёдингера и его принцип дополнительности, квантовую физику, теорию относительности Эйнштейна, построения И. Пригожина, концепцию лингвистической относительности Сепира–Уорфа. Вспомним, что писал в своем послевоенном дневнике сумрачный германский гений Карл Шмит: «Квантовая физика... родилась... из понятий неокантианства» (11.01.1948); «Сегодня каждый физик знает (раньше это было ясно только хорошим теоретикам познания), что наблюдаемый объект меняется в процессе наблюдения над ним» (03.12.1947).

Теперь без околичностей и совсем просто. Попытки понять исходя из различных теоретических оснований, под различным углом зрения дают **стереоскопические видения** предмета изучения⁵. Этот предмет, как бы искупавшись в различных водах, предстает и таким, и таким.

⁵ Крайне важна тема: «предмет изучения». **Что** анализируем. Но об этом в следующий раз.

Главное же: возможностный подход создает возможность выбора, обеспечивает свободу выбора идентичности. Пример: бесконечный и бесплодный (в **определённом** ракурсе) спор о том, есть ли Россия часть Европы (отсталая, особая) или самостоятельная цивилизация. Эта дискуссия измотала, обескровила русскую мысль (одновременно – это ее фирменный знак, ее блеск и завораживающие прозрения). Возможностная позиция переводит спор в иную плоскость. **Можно выбирать**: европейскую идентичность и русскую идентичность. Заметим: «и» (а не «или»). За нами и Россией свобода выбора. Чем она хочет быть или стать, чем является и чем нет. При этом, повторю, возможно «и». То есть – открываем карты – свобода выбора идентичностей и есть важнейшая из идентичностей, и есть онтология историософии, самопознания.

Еще раз: Россия («мы») может выбирать. В этом – главное. У меня есть статья – «Россия: между Европой и Евразией». Странное, казалось бы, название. Неужто автор полагает, что между Европой и Евразией имеется какое-то «место», «положение» – географическое (пространственное), смысловое, социоисторическое, культурное etc? Во-первых, да. Как раз сегодня, да. Как только Россия сократится до Урала (тенденция просматривается явственно), Сибирь и Дальний Восток престанут быть евразийскими. Они станут североазиатскими. Мы вновь сосредоточимся на Русской равнине. Мы окажемся между Европой (куда войдут и Украина, и Белоруссия) и бывшим Востоком Евразии, наступающей Северной Азией и наличной Средней Азией. И наш путь будет отличаться и от тех, и от других, и от третьих. Во-вторых, у России всегда есть выбор ориентации: на Европу или на евразийский путь. В-третьих, России вообще как будто нет. Она и не Европа, и не Евразия, а поскольку те «стоят», плотно прижавшись друг к другу, то ей и места нет. В-четвертых... в-пятых...

Понятно, что все это игры ума. Но «поиграв» так, мы неожиданно видим, открываем для себя новые возможности не только для нового знания о России (а это есть задача науки), но для ее самоопределения, самоидентификации.

И последнее относительно уточнения наших методологических подходов.

Не только в науке, но и в «повседневном» сознании людей господствует убеждение: везде и всегда человек в общем-то равен самому себе. Он рождается, развивается, стареет, умирает. Он подвержен болезням, страхам, надеждам. Он хочет есть, пить, получать удовольствие, реализовывать половые потребности: он продолжает род и т.д. Так ли это? Конечно, так. Несмотря на все громадное различие исторических, цивилизационных и прочих типов человека, последний всегда был и остается человеком. Это, так сказать, первый уровень понимания. Из него делается вывод, согласно которому социальный порядок в общем и целом тоже один. То есть существуют исторические, цивилизационные и прочие разновидности этого порядка. Повторю: разновидности **одного порядка**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.